

# Несовершенная публичная сфера

История режимов  
публичности в России

библиотека  
журнала

ИСТОРИЯ **АНТРОПОЛОГИЯ** ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

неприкосновенный  
запас



Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»

Коллектив авторов

**Несовершенная публичная  
сфера. История режимов  
публичности в России**

«НЛО»

2021

УДК 316.77  
ББК 60.524.224

### **Коллектив авторов**

Несовершенная публичная сфера. История режимов публичности в России / Коллектив авторов — «НЛО», 2021 — (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»)

ISBN 978-5-44-481638-7

Вопреки сложившимся представлениям, гласность и свободная полемика в отечественной истории последних двух столетий встречаются чаще, чем публичная немота, репрессии или пропаганда. Более того, гласность и публичность не раз становились триггерами серьезных реформ сверху. В то же время оптимистические ожидания от расширения сферы открытой общественной дискуссии чаще всего не оправдывались. Справедлив ли в таком случае вывод, что ставка на гласность в России обречена на поражение? Задача авторов книги – с опорой на теорию публичной сферы и публичности (Хабермас, Арндт, Фрейзер, Хархордин, Юрчак и др.) показать, как часто и по-разному в течение 200 лет в России сочетались гласность, глухота к политической речи и репрессии. Сборник включает в себя более двадцати исследований, позволяющих реконструировать богатую историю трансформации режимов публичности в дореволюционной, советской и постсоветской России. Анализируя разные формы публичности – от имперского двора до художественных выставок и дебатов в социальных сетях – авторы стремятся объяснить, почему в одни исторические периоды обращенные к обществу высказывания имеют значительный резонанс и способны определять ход событий, а в другие – оставляют аудиторию равнодушной и жестко подавляются властями.

УДК 316.77  
ББК 60.524.224

ISBN 978-5-44-481638-7

© Коллектив авторов, 2021

© НЛО, 2021

## Содержание

Тимур Атнашев[1] , Михаил Велижев[2] , Татьяна Вайзер	6
I. Современная политическая философия и историография публичности: вокруг Хабермаса	9
II. Режимы публичности, или Что дает словам вес	26
III. Об эффектах, циклах и институтах публичности	33
Общественное мнение и публичность в царской России	44
Михаил Велижев	44
Конец ознакомительного фрагмента.	54

# Несовершенная публичная сфера. История режимов публичности в России. Сборник статей

*Тимур Атнашев<sup>1</sup>, Михаил Велижев<sup>2</sup>, Татьяна Вайзер*

*Двести лет опыта*

*От буржуазной публичной сферы к  
российским режимам публичности*

Вопреки сложившимся представлениям, гласность и свободная полемика в публичной сфере в отечественной истории последних двух столетий встречаются чаще, чем публичная немота, репрессии или пропаганда<sup>3</sup>. Более того, гласность и публичность регулярно становились основой для серьезных реформ сверху, порождая большие надежды на перемены со стороны высшего руководства и образованной общественности. Так, оптимистические ожидания скорых плодов, которые принесут открытые дискуссии в 1860 году, когда метод стенографии был впервые использован в Петербургском университете для записи диспута о происхождении Руси между Михаилом Погодиным и Николаем Костомаровым (см. статью **Стивена Ловелла** в настоящем сборнике), в определенном смысле напоминают настроения 1988 года, когда по решению генерального секретаря ЦК КПСС и части его соратников по Политбюро «очернение истории» перестало быть поводом для цензуры. Впрочем, важно подчеркнуть, что зачастую оптимистические ожидания от расширения сферы свободной полемики не оправдывались<sup>4</sup>.

Гласность в обсуждении и принятии решений за более чем двести лет настойчивых попыток ее освоения социумом, по общему мнению, не стала частью политических институтов в современной России<sup>5</sup>, а стенограммы, которые сначала казались технологией гласности и сво-

<sup>1</sup> Исследование осуществлено в рамках подготовки НИР РАНХиГС «Политическая философия публичной сферы: субъекты и режимы коммуникации» в 2020 году.

<sup>2</sup> Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2021 году.

<sup>3</sup> Здесь и далее мы неоднократно обращаемся к и полемизируем с отдельными статьями и общей повесткой сборника: «Синдром публичной немоты». История и современные практики публичных дебатов в России / под ред. Н. Б. Вахтина, Б. М. Фирсова. М.: Новое литературное обозрение, 2017.

<sup>4</sup> О том, как быстро оптимистические ожидания, связанные с гласностью и демократизацией, сменялись ощущением тупика, в частности свидетельствуют названия сборников публицистических статей во влиятельной серии «Перестройка: гласность, демократия, социализм». Серия выходила с 1988 года, и титулы сборников отражали настроение издателей («Иного не дано», «Через тернии», «Пульс реформ»). Одна из последних книг, вышедшая в 1991 году, называлась «Погружение в трясину»: Погружение в трясину: сборник / под ред. Т. А. Ноткиной. М.: Прогресс, 1991.

<sup>5</sup> В качестве примера взвешенной и обоснованной интерпретации такого типа мы можем привести сборник «Публичная политика в России», подготовленный Горбачев-Фондом совместно с Университетом Калгари в 2005 году. В теоретической статье, открывающей книгу, Ю. Красин ставил вопрос об угрозе дальнейшего неуклонного «сжатия [публичной сферы] подобно шагреновой коже, освобождающей пространство для авторитарной политики». Ключевую проблему современной России Красин обозначил следующим образом: как воссоздать государство, не усилив авторитаризм? Заклочительный диагноз скорее пессимистичен: «Публичная сфера современного российского общества пока находится в начальной стадии становления. Она не консолидирована на общенациональном уровне, разделена на слабо связанные между собой звенья. Она деформирована под прессом корпоративных интересов государственной бюрократии и олигархического капитала и ее собственное влияние на государственную политику весьма ограничено». См.: *Красин Ю.* Публичная сфера и публичная политика в российском измерении // Публичная политика в России. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 15–32. Ср.: «...В результате политических реформ, проводившихся под лозунгом укрепления государства, произошла трансформация партийной и избирательной систем, усилилась зависимость парламента от исполнительной власти... результатом предпринятых мер стало сокращение числа площадок, на которых могут публично обсуждаться и оспариваться альтернативные политические проекты» (*Малинова О.* Изменение институциональных условий производства и конкуренции политических идей в России: от 1990-х к 2010-

боды, через шестьдесят лет использовались на допросах политических противников. Роспуск трех из четырех Государственных дум в начале XX века, расстрел Верховного Совета России в 1993 году и известное апокрифическое высказывание спикера Государственной думы в середине 2000-х годов о том, что «парламент не место для дискуссий», ставшее знаком заката конкурентной публичной политики и снижения значимости публичных дебатов<sup>6</sup>, делают вопрос о практиках публичной сферы и делиберации в современной российской истории еще более острым. Мы хотели бы способствовать не просто возрождению этих прежде не сбывавшихся надежд (или смиренному согласию с тезисом о необходимости оставить всякую надежду), но процессу профессиональной и общественной рефлексии исторического опыта публичности.

Статьи сборника основаны на анализе сюжетов из прошлого и настоящего российской публичной сферы. В центре внимания исследований – работающие практики и режимы публичности за последние двести лет. Во введении мы хотим обсудить общие для сборника методологические вопросы изучения публичности, политической философии и историографии. Вопрос о переходе от формирования совместного символического опыта, публичных дебатов и мнений к работающим институтам политической власти задает горизонт, но не предмет настоящего исследования. Предметом являются *режимы* и *эффекты* публичности.

В первой части статьи мы сделаем краткий обзор классических философских текстов и подходов к исследованию публичной сферы. Мы хотим обратить особое внимание на близость нормативной политической философии с одной стороны и социально-исторических исследований с другой. Для этого мы, по необходимости избирательно, обратимся к классическим работам Иммануила Канта, Ханны Арендт; кроме того, специальный акцент будет сделан на трудах Юргена Хабермаса, а также его полемике с оппонентами и последователями, среди которых мы выделим работы Оскара Негта, Александра Ключе и Нэнси Фрейзер.

Во второй части мы хотим обсудить новую методологическую повестку, общую для исследований по отечественной истории и современности, включенных в сборник. Речь пойдет о классических подходах к изучению *публичности* и об их обогащении за счет интеграции с влиятельными методами изучения политических языков и дискурс-анализа. Сочетание двух перспектив поможет четче очертить смысловые контуры термина «режим публичности». Как представляется, локальные режимы публичности являются важной частью исторического и политического контекста, в котором мы можем лучше понимать как *значение*, так и *значимость* конкретных публичных высказываний.

Мы можем отметить как циклический характер, так и высокую частоту изменений и удивительное разнообразие режимов публичности в российской истории Нового и Новейшего времени, в том числе сосуществовавших в одну эпоху. В ряде исследований анализ резких изменений режима коммуникаций оказывается ключом для понимания статуса и значения классических политических текстов, созданных и опубликованных в двух разных режимах публичности. В целом мы возвращаемся к подходу раннего Хабермаса, когда комплексное историческое исследование давало основание для политико-философских аргументов.

Наконец, мы попробуем ответить на следующие вопросы. В какой мере отечественные социальные практики свидетельствуют о структурном несовершенстве российской публичной сферы? Какой вывод может сделать политический философ или политическое сообщество, исходя из анализа исторической *неустойчивости* практик публичного обсуждения в России? Наш главный полемический тезис связан с рефлексией исторического и современного

---

м // Публичная сфера: Теория, методология, кейс-стади / под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2013. С. 65).

<sup>6</sup> Сам Б. Грызлов не произносил этой фразы, но более пространно высказался в сходном смысле. Емкая формулировка была приписана ему журналистами и получила широкое хождение, как представляется, в силу того, что сигнализировала о снижении уровня полемики и конкуренции в парламенте Российской Федерации. Мы благодарны Олегу Никишкину за комментарий к тексту статьи в целом и за внимание к этому моменту в частности.

опыта публичности в актуальной политической философии. Мы предлагаем три политических вывода, философскую обоснованность которых отечественным историческим опытом последних двухсот лет было бы важно признать:

1) необходимо делать ставку на делиберативные институты для решения максимально широкого круга вопросов и с подозрением относиться к ограничениям на их использование;

2) важно опираться на современные или проверенные опытом старые практики, а также возвращать, культивировать делиберативные институты, стимулировать развитие различных форм и масштабов обсуждений, в том числе в связи с принятием обязывающих управленческих решений;

3) лучше ограничивать использование делиберативных институтов тем периметром, внутри которого у политиков, элит и граждан уже есть навыки совместного принятия решений.

Одна из главных задач сборника заключается в том, чтобы показать заинтересованному читателю фундированность *каждого* из трех ответов. Предпочтение одной из трех стратегий в ущерб двум другим игнорирует значимую часть нашего исторического и современного опыта.

На первый взгляд, исторический анализ должен подвести нас к мысли, что делиберативные институты способны функционировать в России лишь при определенных условиях, обеспечение которых является излишне оптимистическим, а возможно, даже нереалистичным ожиданием. Впрочем, мы убеждены, что специфическая историософская логика – «в России всегда (или часто) было так, следовательно, это правильно и так будет всегда в будущем», – при которой прошлое в значительной мере предопределяет будущее, является порочной и в научном, и в общественном смысле. Так, даже неудачный опыт построения делиберативных институтов является позитивным – как любой политический опыт при условии его рефлексии и усвоения. Наша цель – интерпретировать «моменты гласности» в отечественной истории с учетом их локальных ограничений и показать, что они также были частью нашего политического прошлого. В этой перспективе прошлое мы рассматриваем не как единую и непротиворечивую матрицу для конструирования политического или идеологического дискурса в настоящем и будущем, но как репертуар практик и возможных политических решений, несводимых к одному знаменателю. Прошлое выступает здесь не источником легитимации какого-то конкретного политического решения или института, а триггером, провоцирующим рефлексию о принципиально разных способах построения национального политического нарратива и обсуждения решений в современном контексте. Впрочем, не будем лукавить: принципиальная ставка на практики делиберации является нашей собственной нормативной политической повесткой, обусловленной не только рефлексией над историческим опытом, но и (связанным с ним, но самостоятельным) политико-философским убеждением. Как кажется, именно сочетание этих двух принципов позволит нам предложить подход, внутри которого исторические исследования обретут смысл как политико-философские высказывания. В этом смысле несовершенство и динамизм публичной сферы становятся исторической нормой.

## I. Современная политическая философия и историография публичности: вокруг Хабермаса

Наиболее влиятельные произведения о публичности были написаны на немецком и английском языках тремя германскими философами, жившими в разное время, – И. Кантом, Х. Арендт и Ю. Хабермасом. Предварительно выделив общее нормативное ядро политической философии публичности, мы затем покажем оригинальность и специфику основополагающей работы Хабермаса «Структурная трансформация публичной сферы» (1962)<sup>7</sup>. На этой основе мы сможем представить последующую полемику и направления эмпирических исследований, которые стимулировала эта книга, а также обрисовать дальнейшую интеллектуальную эволюцию Хабермаса, «самого влиятельного публичного интеллектуала Европы»<sup>8</sup>, как теоретика публичной коммуникации. При этом мы вынужденно не включаем в обзор ряд работ ведущих исследователей публичности, которые оказали, с нашей точки зрения, меньшее влияние и в плане рецепции оказались менее плодотворными, чем реконструируемая нами линия, что, конечно, не лишает альтернативные подходы ценности<sup>9</sup>.

Современный интерес к публичной сфере отражает фундаментальный аспект самоопи- сания и нормативных представлений ведущих мыслителей послевоенных западных государств о политических режимах. Политическая философия Канта остается одним из канонических источников континентальной европейской традиции, для которой фундаментальными пред- ставляются несколько тезисов из текста «Ответ на вопрос: что такое просвещение?» (1784)<sup>10</sup>. Во-первых, каждый человек по природе способен к самостоятельным суждениям, не ссылаясь на авторитеты и традицию, что делает его ответственным за себя, а общество – способным к трансформации<sup>11</sup>; во-вторых, гласное обсуждение приводит разумных людей к согласию (пусть и не всех); в-третьих, любые законы должны приниматься в соответствии с таким согласием. Из тройного утверждения автономии разумного человека прямо следует и обратное: необходи- мость добровольно подчиняться законным приказаниям и правилам. Несколько раз ссыла- ясь на мудрость и уникальные качества абсолютного монарха (Фридриха Великого), на деле придерживавшегося последовательной политики веротерпимости и свободы слова, Кант про- ходит строго по границе между лестью подданного и самостоятельным суждением свободного гражданина:

---

<sup>7</sup> *Habermas J.* Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Berlin: Neuwied, 1962.

<sup>8</sup> Так характеризует Юргена Хабермаса в связи с его девятидесятилетним юбилеем одно из известных книжных обозрений в США, в частности описывая, как три тысячи американских ученых в течение пятнадцати минут аплодировали после лек- ции немецкого мыслителя об интеллектуальных истоках собственной философии в текстах Канта, Гегеля и Маркса (2019). См.: *Mendieta E.* The Unfinished Project of the Enlightenment: Jürgen Habermas at 90 // Los Angeles Review of Books. 11.08.2019. <https://lareviewofbooks.org/article/unfinished-project-enlightenment-jurgen-habermas-90/>. См. также два недавних сборника на немецком и английском языках, включающие работы более сорока авторов и содержащие более восьмисот страниц текста каж- дый. Они посвящены глобальному влиянию работ Хабермаса и его ключевых понятий: *Habermas global: Wirkungsgeschichte eines Werks / hrsg. L. Corchia, S. Müller-Doohm, W. Outhwaite.* Frankfurt am Main, 2019; *The Cambridge Habermas Lexicon / ed. by A. Allen, E. Mendieta.* Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

<sup>9</sup> В частности, речь не пойдет о работах и подходах М. Фуко, П. Бурдьё, Э. Лаклау, И. Гофмана, Р. Сеннета и др. См.: *Sennett R.* The Fall of Public Man. New York: W. W. Norton & Company, 1974; *Eliasoph N.* Political Culture and the Presentation of a Political Self: A Study of the Public Sphere in the Spirit of Erving Goffman // *Theory and Society.* 1990. Vol. 19. № 4. P. 465–494; *Laclau E., Mouffe Ch.* Hegemony and Socialist Strategy. London: Verso, 1985; *Villa D.* Postmodernism and the Public Sphere // *The American Political Science Review.* 1992. Vol. 86. № 3. P. 712–721. См. также краткий разбор альтернативных подходов к публичности: *Диденко М.* Концептуализация публичности: Основные подходы // Соціальні виміри суспільства. 2008. № 11. С. 52–62.

<sup>10</sup> *Кант И.* Ответ на вопрос: что такое просвещение? / пер. с нем. Ц. Г. Арзаканьяна // Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 6. М.: Мысль, 1966. С. 27–35.

<sup>11</sup> Анализ этого «коперниканского переворота» в политической философии Канта см.: *Герлах Г.-М.* Кант и Берлинское просвещение // Кантовский сборник. 2010. № 4 (34). С. 13–21.

Однако в своем образе мыслей глава государства, способствующий просвещению в делах религии, идет еще дальше; он понимает, что даже в отношении своего *законодательства* нет никакой опасности позволить подданным *публично* пользоваться своим разумом и открыто излагать свои мысли относительно лучшего составления законодательства и откровенно критиковать уже существующее законодательство; мы располагаем таким блистательным примером, и в этом отношении ни один монарх не превосходил того, кого мы почитаем в настоящее время<sup>12</sup>.

Мыслитель комплиментарно пишет об абсолютном монархе (по семейной традиции считавшем себя главным слугой общего государственного интереса в Пруссии), который старался самостоятельно рассматривать и принимать буквально все законы и решения, никому не доверяя собственные полномочия<sup>13</sup>. Право свободно высказывать мнения и право принимать законы в Пруссии «эпохи Фридриха» были строго разделены, о чем упоминает и сам Кант. Более того, он добавляет, что уверенности монарху, готовому спокойно слушать критику, парадоксальным образом придает «хорошо дисциплинированная и многочисленная армия». Как же, по Канту, в абсолютистской Пруссии устранялся разрыв между властью одного принимать решения и критическим мнением образованных людей, явно лишенных такого права? За счет сослагательного наклонения, предполагавшего добровольное и добродетельное подчинение суверена разумному мнению общества без передачи юридических полномочий: «Критерий всего того, что принимается как закон для того или иного народа, заключается в вопросе: *принял бы сам народ для себя такой закон*»<sup>14</sup> (курсив наш. – Т. А., М. В., Т. В.).

Для нас здесь важна сама сложность перехода от свободной критики и дискуссии к законодательной деятельности или переход от гласного обсуждения к юридически обязывающему принятию политических решений. Одному добродетельному просвещенному человеку с небольшим негласным комитетом прийти к консенсусу кажется легче, чем множеству необразованных людей, которым нужно достичь согласия в гласном споре<sup>15</sup>. Великий философ считал, что, пока разум большинства становится совершеннолетним, добродетели и интеллекта великого монарха вполне достаточно, чтобы сделать законы Пруссии разумными без парламента. Между тем переход к совершеннолетию личного и коллективного ума совершается постепенно и требует многократных упражнений. Поскольку в течение пяти лет великий житель Кёнигсберга был подданным Елизаветы Петровны, мы можем утверждать, что эти тезисы в какой-то степени являются и частью российского интеллектуального наследия.

Во многом опираясь на философские постулаты Канта, Арендт и Хабермас в конце 1950-х – начале 1960-х годов указали на важность полемики и совместного рационального обсуждения политических вопросов как публичного действия, открытого всем участникам. Арендт исходно писала о *public realm* («публичное пространство»), Хабермас сделал центральным для политической философии понятие *Öffentlichkeit* («публичность, публичная сфера»), которое к тому времени уже прочно вошло в академический оборот в Германии и стало объектом описания более чем в сотне исследований в нескольких дисциплинарных полях. В течение последую-

---

<sup>12</sup> Кант И. Ответ на вопрос: что такое просвещение? С. 34.

<sup>13</sup> О личном стиле и системе управления Фридриха Великого см.: Spicer M. W. Public Administration under «Enlightened Despotism» in Prussia: An Examination of Frederick the Great's Administrative Practice // Administrative Theory & Praxis. 1998. Vol. 20. № 1. P. 23–31; Dorn W. L. The Prussian Bureaucracy in the Eighteenth Century // Political Science Quarterly. 1931. Vol. 46. № 3. P. 403–423; Dorn W. L. The Prussian Bureaucracy in the Eighteenth Century II // Political Science Quarterly. 1932. Vol. 47. № 1. P. 75–94; Dorn W. L. The Prussian Bureaucracy in the Eighteenth Century III // Political Science Quarterly. 1932. Vol. 47. № 2. P. 259–273.

<sup>14</sup> Кант И. Ответ на вопрос: что такое просвещение? С. 31.

<sup>15</sup> О дискуссиях вокруг этого тезиса во Франции XVIII века см.: Шартье Р. Культурные истоки Французской революции / пер. с фр. О. Э. Гринберг. М.: Искусство, 2001. С. 38–45.

щих шестидесяти лет (а в англоязычной науке – с момента первого перевода книги в 1989 году) в академической литературе сформировалось устойчивое семантическое ядро из нескольких однокоренных и часто взаимозаменяемых словосочетаний: *public sphere*, *public space*, *public realm*, *publicity*, *publicness*, *public opinion*, а также связанных с ними понятий: *republican*, *republic*, *critique*, *communication*, *communicative*, *deliberative*, *participatory*, *argumentative*.

Главный тезис делиберативного поворота в политической философии XX века заключается в том, что в основе справедливого политического режима лежит участие граждан в свободном обсуждении конкретных решений и порядка в целом<sup>16</sup>. Арендт и Хабермас развивали классическую политическую философию, прежде всего античную республиканскую традицию и идеи Просвещения, и одновременно осмыслили новую реальность массовых политических коммуникаций первой половины XX века в Западной Европе и США. Контраст между нормами ушедшего «золотого века» (для Арендт это были Афины IV века до н. э., для Хабермаса – Великобритания, Франция, Германия в XVIII–XIX веках), предполагавшими равноправную речь и полемику, и новой практикой массовых политических режимов 1930–1960-х годов, включая растущую роль пропаганды в тоталитарных и авторитарных режимах и коммерческой рекламы в культуре демократических стран, задал исходно критическую и отчасти пессимистическую перспективу описания исторического упадка публичной сферы в современных им обществах. Однако последующее развитие западных демократий, эволюция мысли и рецепция идей Арендт и Хабермаса скорее указывают на практический потенциал этой гуманистической идеологии. Обе версии философии общественного пространства, опиравшиеся на исторические образцы, располагали диалектическими ресурсами для того, чтобы частично опровергнуть пессимистическое суждение об упадке публичной сферы в XX веке и по-своему возобновить незавершенный проект и процесс Просвещения<sup>17</sup>.

В рамках теорий публичной сферы речь идет об оригинальном осмыслении самоуправления и автономии как высшего политического принципа<sup>18</sup>. Согласно Дж. Талли, самоуправление интерпретируется как равноправное и рациональное обсуждение решений сообществом, в котором может принять участие каждый, кого они касаются. В процессе дебатирования аргументы имеют вес, независимый от статуса и места собеседника в иерархии<sup>19</sup>. Власть нового типа возникает и воссоздается в ходе рациональной и критической дискуссии, а не опирается на авторитет, харизму, сделку или угрозу насилия. В идеале каждый гражданин подчиняется только такому решению, в свободном обсуждении которого он принял участие *совместно* с другими членами социума. Для этого любому, кого затрагивает решение, должен быть обес-

---

<sup>16</sup> См.: *Deliberative Democracy, Essays on Reason and Politics* / ed. by J. Bohman, W. Rehg. Cambridge, MA: MIT Press, 1997; *Deliberation and Democracy: Innovative Processes and Institutions* / ed. by S. A. Coleman, A. Przybylska, Y. Sintomer. New York: Peter Lang, 2015.

<sup>17</sup> См. в особенности: *Habermas J. The Philosophical Discourse of Modernity. Twelve Lectures*. Cambridge, MA: MIT Press, 1987; *Habermas J. Modernity: The Unfinished Project // Habermas and the Unfinished Project of Modernity* / ed. by M. Passerin d'Entreves, Sh. Benhabib. Cambridge, MA: MIT Press, 1997. P. 38–58.

<sup>18</sup> Это один из центральных моментов в интерпретации философии Хабермаса Джеймсом Талли. Талли использует понятия *self-determination*, *self-organization* и *self-constitution*. См.: *Tully J. On the Global Multiplicity of Public Spheres: The Democratic Transformation of the Public Sphere? // Beyond Habermas: Democracy, Knowledge and the Public Sphere* / ed. by C. J. Emden, D. Midgley. New York: Berghahn Books, 2012. P. 169–204.

<sup>19</sup> В этом контексте необходимо упомянуть влиятельную теорию демократии А. де Токвиля, сформулированную в 1830-е годы. Подобно Канту с его моделью *république des lettres*, Токвиль описывал и интерпретировал республику Соединенных Штатов Америки как государство, основанное на делиберативных практиках: «Под республиканской формой правления в Соединенных Штатах понимается размеренное и спокойное развитие общества. Это общественное устройство представляет собой хорошо отрегулированный механизм, поистине созданный по воле просвещенного народа. Эта форма правления стремится к примирению противоречий, принимаемые ею решения долго обдумываются, неторопливо обсуждаются и мудро выполняются» (*Токвиль А., де. Демократия в Америке* / пер. с фр. Е. Орловой. М.: Весь Мир, 2000. Кн. 1. Ч. 2. С. 285). Отличие концепции Токвиля от идей Канта состоит в том, что Токвиль не мыслил гражданина как индивида, одновременно живущего в двух совершенно разных пространствах, требующих принципиально иного общественного поведения. Американский гражданин не должен в частной сфере слепо подчиняться приказам, а в публичной свободно пользоваться разумом. Согласно Токвилю, практика публичного обсуждения политических вопросов и есть то поле, в котором реализуют себя разум и нравы народа.

печен открытый доступ к участию в дискуссии. Коллективный суверенитет выражается не в сумме волей, не в фигуре вождя, не в манифестации предустановленного единодушия и даже не в выборе представителей, но через обсуждение и полемику, в которой формируется совместный проект.

Арендт в большей степени подчеркивает различия между позициями участников спора и важность ценностного плюрализма для публичного пространства. Публичная сфера Арендт предполагает открытое состязание равных граждан, чьи позиции принципиально несхожи друг с другом, а консенсус достигается путем свободного и непосредственного обсуждения *face-to-face*, которое становится жестом, поступком, «политической деятельностью *par excellence*»<sup>20</sup>: «Действие (поступок) единственная деятельность в *vita activa*, развертывающаяся без посредничества материи, материалов и вещей прямо между людьми. Основное отвечающее ему условие – это факт множественности, а именно то обстоятельство, что не один единственный человек, а многие люди живут на Земле и населяют мир»<sup>21</sup>. Человек как социальное существо, таким образом, по природе своей обречен на политическое бытие: «...не один единственный человек, а многие люди живут на Земле и населяют мир. Правда, во всех своих аспектах человеческая обусловленность имеет политическую сторону, однако обусловленность множественностью стоит к тому факту, что среди людей существует такая вещь, как политика, опять же в каком-то исключительном отношении; она не только *conditio sine qua non*, но и *conditio per quam*»<sup>22</sup>. Последнее обстоятельство принципиально, поскольку именно дискуссии разных по взглядам индивидов Арендт предлагала противопоставить эгалитаристским тенденциям современного ей массового общества.

Ранний Хабермас, отталкиваясь от идей Арендт, делает больший акцент на достижении согласия или консенсуса в отношении общего блага, впрочем, также признавая важность различий и центральную роль живого обмена аргументами<sup>23</sup>. Развивая доводы о самостоятельности суждения и значимости обсуждения, оба автора подчеркивали, что коллективная воля формируется только в ходе дебатов. В отличие от более осторожного Канта, Арендт и Хабермас утверждали, что личная безопасность, разумные законы, правовой порядок и даже молчаливое согласие граждан на определенный политический режим, как это было в абсолютистской Пруссии, недостаточны для политической свободы сообщества. Речь шла о стратегической полемике с либеральной и электоральной (плебисцитарной) моделями представительной демократии, которые в XX веке успешно претендовали на нормативную гегемонию в истолковании западного образа правления.

Следуя кантианской традиции, важно сделать следующий шаг, связывающий публичную сферу, делиберацию и право. Справедливые законы свободного общества могут быть основаны только на их открытом и рациональном обсуждении<sup>24</sup>. По результатам содержательной дискуссии граждане самостоятельно и вне принуждения принимают совместное решение. Дисциплины (общей веры в важность права и правил), просвещенного монарха, всеобщего голосования и даже честно посчитанной суммы исходных мнений недостаточно. Легитимность правовой нормы основана на полемической и совместной *procedure* ее утверждения. Только

---

<sup>20</sup> Арендт Х. *Vita activa, или О деятельной жизни* / пер. с нем. и англ. В. Библихина. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. С. 19.

<sup>21</sup> Там же. С. 17.

<sup>22</sup> Арендт Х. *Vita activa, или О деятельной жизни*. С. 17. О Х. Арендт и ее концепции публичной сферы см. также: Hannah Arendt and the Boundaries of the Public Sphere // *Russian Sociological Review*. 2018. Vol. 17. № 4 / ed. by A. Salikov, G. Yudin. <https://sociologica.hse.ru/2018-17-4.html>.

<sup>23</sup> См. анализ различий между концепциями двух мыслителей: *Benhabib Sh. The Embattled Public Sphere: Hannah Arendt, Jürgen Habermas and Beyond* // *Theoria: A Journal of Social and Political Theory*. 1997. Vol. 90. P. 1–24; *Salikov A. Hannah Arendt, Jürgen Habermas, and Rethinking the Public Sphere in the Age of Social Media* // *Russian Sociological Review*. 2018. Vol. 17. № 4. P. 88–102. <https://sociologica.hse.ru/en/2018-17-4/230082320.html>.

<sup>24</sup> См., например, обзор теории права Хабермаса на русском языке: *Архипов С. И. Дискурсивная теория права и демократии Ю. Хабермаса* // *Российский юридический журнал*. 2016. № 3. С. 5–13.

рациональное *совместное* обсуждение гражданами и их представителями может быть источником права. Так созданный политический порядок полностью легитимен и делает граждан хозяевами своей судьбы, т. е. свободным сообществом или республикой. При этом Кант скорее подспудно ставит вопрос об условиях распространения специфических норм и практик рациональной дискуссии в республике ученых на общество в целом, используя метафору взросления. У Хабермаса же одним из самых важных оказывается вопрос о «материальных» и социальных условиях полноценного рационального обсуждения.

Таким образом, в текстах Канта, Арндт и Хабермаса, осмысляющих важность публичности как высшей нормы западной политической философии и практики, мы можем выделить несколько общих для этой линии аргументов:

- индивидуальная способность граждан к разумному суждению;
- разнообразие позиций и соревнование участников как ценность, а не помеха эффективному управлению;
- совместное обсуждение как процесс формирования, трансформации и интеграции политических предпочтений;
- открытость публичной коммуникации для всех граждан;
- публичное обсуждение как модель и источник права;
- важность определенной общности социальной позиции и культурного кода, необходимого для обсуждения;
- публичное дебатирование как основа легитимности современных демократических режимов (отчасти в противовес простому голосованию за своих представителей в органах власти).

Ниже мы подробнее рассмотрим эволюцию и рецепцию взглядов Хабермаса. Сотни работ самого известного представителя второго поколения Франкфуртской школы и тысячи исследований, посвященных обсуждению, критике, обоснованию и проверке его аргументов во многом определили развитие политической философии и историографии публичности в XX и XXI веках<sup>25</sup>.

Для понимания смысла ранних работ Хабермаса важно помнить о специфическом политическом контексте ФРГ конца 1950-х – начала 1960-х годов, в котором молодой ученый стал заметной фигурой во многом благодаря острым публицистическим колонкам в прессе. Как известно, Хабермас не смог защитить свою докторскую диссертацию (Habilitation) в Институте социальных исследований во Франкфурте, где до этого работал научным ассистентом. Причиной стало сильное недовольство основателя Института Макса Хоркхаймера слишком радикальной марксистской повесткой молодого мыслителя. Хабермас был вынужден сменить научного руководителя, Теодора Адорно (директора Института и близкого соратника Хоркхаймера), и защитить диссертацию, опубликованную затем в качестве монографии «Структурная трансформация публичного пространства», под руководством другого видного социального философа и юриста Вольфганга Абендрота. Абендрот во время войны дезертировал и участвовал в движении антифашистского сопротивления в Греции на стороне коммунистов. После войны он стал активным сторонником неомарксистского истолкования немецкой конституции в духе радикального социального государства. Речь шла о революционной, но мирной политической программе последовательного ограничения рынка и постепенного обобществления

---

<sup>25</sup> Среди обзоров социологии и теории Хабермаса на русском языке мы можем выделить: *Вахштайн В. С., Вайзер Т. В.* Сообщества и коммуникация: Трансформация социальных механизмов формирования солидарности. М.: РАНХиГС, 2016. <ftp://w82.ranepa.ru/ftp/wpaper/1668.pdf>; *Вербилович О. Е.* Теория коммуникативного действия: Ключевые категории и познавательный потенциал // Публичная сфера: Теория, методология, кейс-стади. С. 35–52; *Косеико Д. В.* Рационализация политической власти демократических обществ в теории коммуникативного действия Юргена Хабермаса // Вестник РУДН. Серия: Политология. 2013. № 4. С. 98–105; *Бусова Н. А.* Юрген Хабермас о становлении коммуникативного действия // Вопросы философии. 2006. № 10. С. 153–166.

экономики – сотрудники и рабочие должны были стать соуправляющими своих предприятий. Для наглядности мы хотели бы, несколько схематично, обозначить позицию молодого Хабермаса в современном ему политическом спектре по трем критериям: экономическая модель, политический режим, правовой режим.

Левый фланг			Левый центр	Правый центр
СССР, КПСС, Интернационалы	Абендрот, Хабермас в начале 1960-х	Адорно, Хоркхаймер	SPD	CDU
Плановая экономика	Обобщественная экономика участия	Критика консюмеризма и бюрократии	Рынок, <i>welfare state</i>	Свободный рынок, минимальные гарантии
Политическая монополия КПСС	Делиберативные механизмы	Критика массмедиа	Парламентская демократия	Парламентская демократия
Революционное право	Конституционализм, право			

Абендрот и его ученик Хабермас располагались почти на самом краю левого фланга немецкого политического спектра. По словам самого мыслителя, через пятьдесят лет сохранившего уважение и пиетет к придерживавшемуся радикальных взглядов учителю, речь шла о «безоговорочной солидарности с достижениями демократического правового государства, однако без отказа от радикальных реформистских целей, предусматривавших еще долгий путь вперед от достигнутого»<sup>26</sup>. В публичной полемике о конституции он противостоял влиятельным правым юристам, ученикам Карла Шмитта (в частности, Эрнсту Фотстофу), утверждавшим незыблемость и автономию рынка и понимавшим «социальный» характер конституции только как гарантию минимальных экономических прав граждан, а не как выражение намерения законодателя в будущем обобществить экономику<sup>27</sup>. Одновременно Хабермас противостоял как основателям Франкфуртской школы, отказавшимся от позитивной политической повестки в пользу общественной критики и личной эмансипации (отсутствие позитивных оснований для политической программы служило для многих левых активистов свидетельством тупика или сдачи позиций), так и прагматическому центризму СПД, которая искала кейнсианский третий путь между плановым социализмом и свободным рынком, потеряв установку на критику и социальную эмансипацию. Однако для международного коммунистического движения и советского социализма этот конституционный вариант марксизма был скорее правым, так как предполагал уважение правовых основ западных обществ и отказ от революционного слома в политической сфере и экономике, одного из ключевых положений советского

<sup>26</sup> *Habermas J.* Ein avantgardischer Spürsinn für Relevanzen. Was den Intellektuellen auszeichnet // *Blätter für deutsche und internationale Politik*. 2006. № 5. S. 550–557; рус. перевод К. Левинсона см: *Хабермас Ю.* Первым почуть важное. Что отличает интеллектуала // *Неприкосновенный запас*. 2006. № 3 (47). С. 5–13. <https://magazines.gorky.media/nz/2006/3/pervym-pochuyat-vazhnoe.html>.

<sup>27</sup> *Specter M. G.* *Habermas: An Intellectual Biography*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. P. 32–33.

марксизма. Согласно молодому Хабермасу, делиберация и публичность должны были создать мирную, демократическую, но по-своему революционную альтернативу политическому насилию и партийно-бюрократической монополии, ставшим основой советского режима СССР и новых социалистических государств в Восточной Европе и Азии<sup>28</sup>.

В «Структурной трансформации» наиболее радикальная для ФРГ идея обобществления экономики выражена в завуалированной форме с помощью частого и особого использования понятия «социальный», ссылок на Абендрота и, наконец, более явно высказана в заключительной части книги. В качестве средства борьбы с деградацией официальной публичной сферы, ограниченной давлением монополистических корпораций и государственных бюрократий, Хабермас предлагал создавать публичные сферы и демократический режим *внутри* каждой организации – от политических партий до частных заводов и корпораций. Таким образом, сотрудники оказывались *совладельцами* и *соуправляющими* предприятий. Публичность и демократичность внутренних процессов должны были привести к мирному снятию капитализма, корпоративного государства и отчуждения человека от политических и экономических структур. Впрочем, предварительный политический эскиз будущего не был основным содержанием книги. Три главных тезиса, которые более подробно обосновал Хабермас, были связаны с вниманием к тому, что уже произошло в прошлом:

- 1) к эпохе формирования «буржуазной» публичной сферы;
- 2) к деградации публичности в эпоху массовой демократии и позднего капитализма;
- 3) к сохраняющейся до сих пор нормативной важности идеалов «буржуазной» публичной сферы после исчезновения ее социально-экономического базиса.

Во-первых, опираясь на сотни исторических исследований, Хабермас показывает, как в Англии, Франции и Германии Нового времени появились технические средства печати, новые культурные и социальные практики, экономический базис, а также идеология и политические институты, основанные на равноправном гласном обсуждении буржуазией общественно значимых вопросов в горизонте общего интереса. Выбором хорошо узнаваемого языка для объяснения исторического процесса в терминах капиталистического способа производства Хабермас четко сигнализирует, что его проект в тот момент находился в русле марксистской традиции. Впрочем, как мы уже отметили выше, по сути речь шла об очень значительной ее ревизии.

Образованные владельцы капитала, новая буржуазия и экономически активная аристократия в течение XVII–XVIII веков постепенно выстраивали сети коммуникаций, в которых происходил постоянный обмен новостями и аргументами. Массовый для этой публики опыт чтения и обсуждения литературы, а также выделение частного пространства внутри нуклеарной семьи служили своеобразной школой, где буржуа учились выносить самостоятельные критические суждения и ценить личную автономию как новый идеал полноценно развитого человека. Эта часть теории Хабермаса достаточно хорошо известна. Важно добавить, что буржуазная публика, состоявшая из товаропроизводителей и представителей свободных профессий, разделяла общий для каждого из участников обсуждений интерес: контроль за бюрократией и разумные правила для обеспечения функционирования товарных рынков. Дискуссия в этом смысле не являлась торговлей или переговорами одной стороны с другой, но действительно преследовала *общий интерес*<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Ibid. P. 34.

<sup>29</sup> С точки зрения образованных представителей буржуазии, усилившиеся в эту эпоху «публичные» административные органы на службе монархов должны были служить общей цели – росту экономического благосостояния, обеспеченного частной инициативой, и ограничивать себя в попытках активно, произвольно и своекорыстно регулировать рынок. Благодаря этой уникальной констелляции буржуазная публичная сфера в «золотой век» создала новую общественную ткань власти – общественное мнение, сформированное в дискуссиях частных и экономически независимых агентов, объединенных общим интересом и противостоянием с королевской властью и с ее администрациями. См. часть I в: *Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge: Polity Press, 1989.*

Во-вторых, Хабермас демонстрирует, как с середины XIX и в ходе XX века по мере развития капитализма, технических средств связи и расширения политических прав сложились новые политические режимы, где содержательное обсуждение состоятельными и образованными гражданами уступило место массовым коммуникациям и новому давлению рынка с помощью индустрии рекламы, которая также использовала эффекты публичности. Более того, в английском языке первым значением слова *publicity*, которое было прямым аналогом немецкого *Öffentlichkeit*, во второй половине XX века становится уже не «публичность» или «публичное пространство», а «реклама». По мере расширения электоральных прав доступ к публичной сфере получили наемные работники, экономически зависимые от собственников и существенно менее образованные, чем представители буржуазии. При этом капитализм стал более монополизированным и бизнес овладел средствами массовой информации<sup>30</sup>.

В-третьих, Хабермас утверждает: несмотря на то что экономические или на его языке «социальные» условия буржуазной публичной сферы и ее делиберативных практик уже исчезли в современных ему ФРГ или США, юридическая и философская теория западных демократий не может отказаться от идеала делиберативной демократии. Плебисцитарная демократия, PR или аккламационная публичность недостаточны для внутренней легитимации. Законная и политически легитимная власть отныне *должна* быть основана на осмысленном согласии и мирной возможности граждан оспорить, изменить сложившийся политический порядок и обеспечивающие его законы в ходе обсуждения. Этот ключевой тезис впоследствии он назовет «намерением, которое направляет мою работу в целом»<sup>31</sup>.

В контексте влиятельной реконструкции республиканской традиции в Англии рубежа XVII–XVIII веков Дж. Г. А. Покока, проект немецкого философа с достаточными основаниями можно назвать неохаррингтонианским – продолжающим модель Дж. Харрингтона, в свою очередь опиравшегося на аналитику Н. Макиавелли<sup>32</sup>. Речь идет о своеобразной и потому хорошо узнаваемой «социологии свободы» – идентификации социальных или экономических условий в историческом прошлом, необходимых для поддержания республиканской добродетели, которая в этой перспективе считалась утерянной или находящейся под угрозой. В различных версиях такой республиканской модели основанием добродетели и свободы выступало ношение оружия и владение землей или собственным домом, а факторами коррупции или упадка добродетели – наемные войска, коммерция, личная экономическая зависимость или патронаж. У раннего Хабермаса мы находим почти все элементы описанной модели с одним значимым и парадоксальным отличием. Основой добродетели в предполагаемый «золотой век» оказывается независимость буржуазии, в оригинальных вариантах республиканизма считавшаяся как раз источником коррупции. При этом речь, видимо, идет в большей мере как о структурном сходстве, так и об отдаленном интеллектуальном родстве немецкого философа с английскими и американскими неохаррингтонианцами.

Насколько новыми были аргументы Хабермаса в немецком и европейском контексте 1960-х годов и почему книга породила столь существенный отклик? Если утверждение об

---

<sup>30</sup> Публичная сфера эпохи позднего капитализма деградирует под давлением пропаганды, массового PR и лоббизма частных групповых интересов крупного бизнеса, коммерческой рекламы, технократических решений экспертов и демонстративного массового потребления. Общение заменяется «коммуникацией», которая пропитана двусмысленностью и конфликтом интересов. Гражданин уступает место избирателю и потребителю, которым манипулируют организованные группы экономических или других частных интересов. На смену обсуждению в интересах общего блага приходит манипулирование и частные сделки между зависимыми группами избирателей, бюрократически организованным бизнесом и партиями. См.: Ibid. § 18; § 19; § 20.

<sup>31</sup> *Habermas J. Further Reflections on the Public Sphere // Habermas and the Public Sphere / ed. by C. Calhoun. Cambridge, MA: MIT Press, 1992. P. 441.*

<sup>32</sup> *Поккок Дж. Г. А. Момент Макиавелли. Политическая мысль Флоренции и атлантическая республиканская традиция / пер. с англ. Т. Пирусской. М.: Новое литературное обозрение, 2020. Ср. описание неохаррингтонианского языка и аргументов в главах XII и XIII книги: «Англизация республики. Двор, страна и постоянная армия», «Неомакиавеллиевская политическая экономия. Спор о земле, торговле и кредите в Англии Августинской эпохи».*

упадке вполне вписывалось и развивало ключевую тему первого поколения Франкфуртской школы об опасностях массового общества, технологического прогресса и монополистического капитализма для свободы и автономии людей, то два других тезиса вместе послужили источником для новой политической повестки. Концептуальный переход от идеала буржуазной публичности XVIII века к современным условиям оставался тогда слабо проработанным, но был задан новый вектор и общая тема политической эмансипации через гласные дебаты в будущем<sup>33</sup>.

Хабермас скорее нащупывает, намечает новую позитивную повестку левой идеологии демократической критики<sup>34</sup>, которая не совпадает с центристским поворотом послевоенной социал-демократии. Она позволяет найти перспективу, которая помогает избежать как террора и бюрократического вырождения революционного марксизма в СССР, так и критического пессимизма Адорно и Хоркхаймера<sup>35</sup>. Политическими плодами свежего саженца стала рецепция теории публичной сферы новыми левыми, феминистками и многими меньшинствами, а также успешная интеграция положений делиберативной политической философии в повестку социальных движений и систем государственного управления в США, Канаде и Западной Европе, включая партиципаторные практики и нормы Европейского союза. В начале XXI века на границе политической философии и политической науки возникли влиятельные модели делиберативной и партиципаторной демократии, которые продолжают активно развиваться и обсуждаться, в том числе с точки зрения нового дизайна современных политических институтов и их ограничений<sup>36</sup>.

Сразу после публикации книга Хабермаса выдвинула автора в первый ряд политических мыслителей в ФРГ, получила разнообразные отклики и породила множество работ последователей и критиков. Одним из наиболее важных полемических текстов на немецком языке, который и по сей день сохраняет свою значимость, стала работа его учеников Оскара Негта и Александра Клюге «Публичная сфера и опыт. К анализу буржуазной и пролетарской публичной сферы» (1972)<sup>37</sup>. Авторы осознанно реабилитировали этот уже тогда несколько архаичный марксистский термин в названии книги, называя публичную сферу «пролетарской». Ключевое положение критики было связано с неоправданным представлением о единой гомогенной буржуазной публичной сфере, которое скрывает плюралистический и протестный потенциал альтернативных публик и публичных дискурсов. В «Структурной трансформации» речь шла о «плебейской» публичной сфере и ее неполноценном характере по сравнению с золотым периодом буржуазной публичности. Для Негта и Клюге пролетарская публичная сфера стала мета-

---

<sup>33</sup> См. предисловие Хабермаса к переводу его книги на английский язык: *Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere*. P. XVII–XIX.

<sup>34</sup> «Исход борьбы между критической и манипулятивной публичностью остается открытым; победа публичности, связанной с осуществлением и распределением политической власти в рамках социального государства, над публичностью, предполагающей срежиссированную аккламацию, остается совершенно негарантированной» (Ibid. P. 235).

<sup>35</sup> О пессимизме Адорно см.: *Юдин Г.* Рецензия на книгу: Хабермас Ю. Структурная трансформация публичной сферы: Исследования относительно категории буржуазного общества (2016) // *Философия. Журнал высшей школы экономики*. 2017. № 1. С. 123. В этой же рецензии говорится о недостаточно высоком качестве перевода фундаментального текста Хабермаса на русский язык: «...классический статус книги означает, что к переводу предъявляются серьезные требования – а здесь издание дает немало поводов для огорчения. Хабермасу в принципе не слишком везет с русскими переводчиками: многие вышедшие сборники его статей вызывают у русскоязычного читателя подозрение, что немецкий философ завоевал себе славу умением никогда не формулировать идеи ясно и ни одну мысль не доводить до логического завершения. К сожалению, перевод „Структурного изменения“ этого опасения не развеет» (Там же. С. 128). По этой причине редакторы-составители и авторы сборника пользовались английским и немецким изданиями «Структурной трансформации».

<sup>36</sup> См., например, тематические подборки исследований «The Prospects & Limits of Deliberative Democracy» в журнале *Dædalus* (2017) и «Special Issue: Deliberative Democracy Beyond the West» в издании «Political Theory» (2014). Мы благодарны Петру Сафронову за указание на эти источники и комментарии о значимости дискуссии в целом.

<sup>37</sup> *Negt O., Kluge A. Öffentlichkeit und Erfahrung. Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1972.

форой принципа контрпубличности и контрпубличных сфер, которые возникают внутри социально слабых, но массовых сообществ и помогают им добиваться признания.

Контрпублика спонтанна в своих действиях, ее интересы и социальный опыт не репрезентируют партии и политики в официальном дискурсе, а потому она вынуждена прибегать к неконвенциональным средствам общения: от забастовок и манифестаций до мемов и художественных провокаций в публичных местах. Делиберативный идеал содержательного обсуждения и обмена аргументами оказывается здесь тесным, хотя он и остается признаваемой, но слишком очевидно недостижимой нормой. В дальнейшем этот тип критики теории публичной сферы слева оказался основным и в международной рецепции книги. Идеал дискуссии в универсальном и открытом для всех сообществе образованных и независимых людей, обсуждающих общий интерес (а не *частные* интересы ущемленных или сильных), Негтом, Клюге, Н. Фрейзер, А. М. Янг, Ш. Бенхабиб и другими воспринимался как слишком далекий от реальной политической борьбы и повестки левых в последней четверти XX века. Другим важным дополнением Негта и Клюге стало указание на исключительную важность жизненного опыта (*Erfahrung*) различных групп, который в силу своей разнородности оказывался основным барьером для взаимопонимания. Дебаты между людьми, которые принципиально незнакомы с жизненным опытом друг друга, не могут быть рациональными.

Хабермас долго откладывал перевод работы на английский язык, готовясь доработать текст в ответ на критику. В результате он авторизовал перевод оригинальной версии книги, не внося в него никаких изменений, только в 1989 году, когда он был уже достаточно хорошо известен в США, в частности по спору с Джоном Ролзом<sup>38</sup>. К тому моменту политическая философия Хабермаса существенно эволюционировала. При этом основной интерес ученого к делиберации и ее оптимальным условиям сохранил свою актуальность.

Хабермас постоянно участвует в общественных и академических дебатах с видными представителями самых разных дисциплин и идеологических течений (среди известных публичных дискуссий вызов Мартину Хайдеггеру, оставшийся без ответа, критика Руди Дучке в 1968 году, участие в *Historikerstreit* в связи с тезисами Эрнста Нольте, дебаты о социальной защищенности в Евросоюзе с Вольфгангом Штрэком, диалог с папой римским Бенедиктом XVI – Йозефом Ратцингером и др.; более академические дискуссии с Карлом Поппером, Хансом-Георгом Гадамером, Никласом Луманом, Джоном Ролзом и Жаком Деррида)<sup>39</sup>. Между тем философ почти отходит от исторической аргументации в сторону оригинального синтеза социальной теории, с помощью которого он активно обновляет и уточняет свою политическую философию в ответ на критику и поддержку<sup>40</sup>. В частности, Хабермас отдалается от еще одного марксистского тезиса и признает, что элементы свободного рынка не могут быть эффективно устранены в обозримое время за счет других социальных или экономических механизмов (включая предлагавшееся им ранее обобществление предприятий на основе внутренней публичной сферы и самоуправления). При этом уже в работе «Познание и интерес» философ указывает на другую основу человеческой автономии и развития вне экономических и адми-

---

<sup>38</sup> Краткое изложение ключевых идей книги было переведено на английский существенно раньше, в тот момент, когда появились первые обзорные работы по теме. См.: *Habermas J. The Public Sphere: An Encyclopedia Article // New German Critique. 1974. Vol. 3. P. 49–55.* В 1975 году выходит перевод на английский язык важной работы «*Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus*» с предисловием переводчика Т. Маккарти под названием «*Legitimation Crisis*». В середине 1980-х годов в печати появляются обзорные тексты, в частности: *Alexander J. C. Habermas' Theory: Its Promise and Problems // American Journal of Sociology. 1985. Vol. 91. № 2. P. 405.*

<sup>39</sup> См. обзор основных полемик, в которые был вовлечен Хабермас, в работе: *Müller-Doohm S. Habermas: A Biography. Cambridge: Polity Press, 2016.* На русском языке выходил диалог Хабермаса с Йозефом Ратцингером: *Хабермас Ю., Ратцингер Й. Диалектика секуляризации. О разуме и религии. М.: Библийско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006.*

<sup>40</sup> *Pensky M. Historical and Intellectual Contexts // Jürgen Habermas: Key Concepts / ed. by B. Fultner. Durham: Acumen, 2011. P. 54–73.*

нистративных структур деятельности: *коммуникативный разум* и связанные с ним устремления и практики раскрывают природу человека<sup>41</sup>.

В ряде последующих работ Хабермас рефлексировал понятие опыта Негта и Клюгге, опираясь на свое прочтение феноменологического представления о «жизненном мире», включающем личный опыт, культурные представления, нормы и традиции, семейный и дружеский круг и незаинтересованное общение<sup>42</sup>. Жизненный мир человека, формируемый благодаря постоянной обыденной коммуникации и взаимопониманию с другими людьми, может успешно противостоять отчуждающему давлению двух больших инструментальных «систем» – бюрократии и рынка<sup>43</sup>.

В двух объемных томах фундаментальной «Теории коммуникативного действия»<sup>44</sup>, его *opus magnum*, Хабермас на философском уровне преодолевает главное пессимистическое положение критической теории Франкфуртской школы о глобальном поражении современного общества перед технической мощью потребительского капитализма и бюрократии. Зрелый мыслитель формулирует собственную большую теорию социальной эволюции. Речь идет не о прогрессивной смене формаций или регрессе, а о нелинейном, но устойчивом прорастании новых форм общественных отношений, связанных с коммуникативным разумом<sup>45</sup>. Эта линия получает развитие в применении к области морали в работе «Моральное сознание и коммуникативное действие» (1983), где Хабермас развивает неокантианскую этику дискурса<sup>46</sup>, способную решать моральные вопросы на основе формальных и универсальных правил коммуникации, которые возникают из «моральных интуиций повседневности» (в частности, интуиции «крайней ранимости личности» каждого человека) и на которые могло бы разумно согласиться большинство людей.

В другой влиятельной работе «Факты и ценности» (1992) Хабермас показывает, как система сообщающихся сосудов законодательной деятельности, демократических институтов, коммуникативного действия и жизненного мира создает плотину на пути потока механических воздействий на человеческие отношения со стороны рыночных и административных структур модерна. Эта метафора затем усиливается, когда Хабермас предполагает, что общество может

---

<sup>41</sup> *Habermas J. Erkenntnis und Interesse. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1968.*

<sup>42</sup> Негт и Клюгге развивали сходные аргументы, полемизируя с положениями «Структурной трансформации» и вводя центральное для них понятие «опыт» (*Erfahrung*) как основание для тезиса о несводимости и уникальности культурных установок разных социальных групп.

<sup>43</sup> «Системы» как ключевое понятие теории коммуникаций Хабермаса обозначают социальные технологии массовых обществ модерна, которые обезличивают и механизмируют отношения, нократно увеличивают богатство и производственные возможности. Прежде всего речь идет о двух системах: во-первых, о рыночных механизмах обмена, денежных контрактов, потребления и рекламы и, во-вторых, о бюрократических аппаратах. В более поздних работах, признавая их важность, неустранимость и несводимость друг к другу, немецкий мыслитель во многом развивает критические аргументы Маркса и Вебера, видевших в потреблении и бюрократии угрозу человеческой свободе и автономии. См.: *Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 2. С. 123–136.*

<sup>44</sup> *Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. 2 Bd. Bd. 1: Handlungsrationality und gesellschaftliche Rationalisierung. Bd. 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981.*

<sup>45</sup> Коммуникативный разум и языковая кооперация, отвечающие внутренним потребностям и социо-биологической природе человека, в современную эпоху постепенно вытесняют традиционные формы власти: иерархию, контроль и насилие. Человеку свойственно действовать не только инструментально, с целью достижения технического результата. В нашей природе заложен также и коммуникативный тип действий, нацеленных на взаимопонимание и согласие между людьми как самостоятельную ценность. Коммуникативная власть, возникающая в содержательном общении свободных и разумных людей, становится практической основой эмансипации индивидов и социальных структур. На русском языке доступны небольшие фрагменты двухтомника: *Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия (фрагменты) // Вопросы социальной теории. 2007. Т. 1. Вып. 1. С. 229–245; Он же. Отношения к миру и рациональные аспекты действия в четырех социологических понятиях действия // Социологическое обозрение. 2008. Т. 7. № 1. С. 3–25.*

<sup>46</sup> См.: *Тетюев Л. И. Рецепция этики дискурса в современной философии // Вестник РУДН. Серия: Философия. 2019. № 2. С. 240–252.*

не только ограничить механизацию людей, производимую «системами», но и канализировать встречный восходящий поток от человеческого общения к морали и закону<sup>47</sup>.

Закон оказывается здесь выражением моральной общественной рефлексии и контроля за большими техническими системами. Хабермас продолжает линию Канта и немецкую юридическую традицию, предлагая актуализацию моральных и философских оснований права в современных условиях. В постконвенциональных и постметафизических обществах, где ссылка на авторитет Бога или традиции оказывается недостаточной и не позволяет снять разногласия и утвердить нормы, люди внутренне признают только такие установления, которые стали результатом правильно выстроенного равноправного общения. Публичность становится главным источником легитимного порядка. В конечном счете речь идет об интеграции жизненных миров людей и технических систем (рынок, бюрократия, технология, автоматизация) через живое и справедливое согласование норм закона. Общая интеллектуальная траектория в политических координатах привела философа от крайне левого, но антиленинского фланга к новой формулировке повестки для левого центра, которая была бы критической альтернативой центризму социал-демократии и государства всеобщего благосостояния. Талли показывает, что зрелый Хабермас мыслит свою нормативную модель как оптимальный смешанный режим, вбирающий в себя лучшие аспекты либеральной концепции в духе Б. Константа и вовлеченности граждан в общественные вопросы, свойственной античной республиканской традиции<sup>48</sup>.

Критиков и последователей Хабермаса часто трудно отделить друг от друга. Это обстоятельство подтверждает как факт влияния его идей, так и общую способность выстраивать продуктивную полемику, в которой стороны систематически признают правоту противника. Общий критический и полемический тон полемики обычно сочетается с признанием оснований и использованием общего языка. По известной формуле, развитие происходит «вместе с Хабермасом против Хабермаса»<sup>49</sup>. Часть критических аргументов «против Хабермаса» буквально содержится в его работе 1962 года. Часть контраргументов оппонентов и последователей философа рассматриваются в дальнейших текстах и интегрированы в политическую теорию позднего Хабермаса. При этом мы можем условно выделить с одной стороны политических философов, включая мыслителей, представляющих различные течения марксизма, феминизма, теории демократии, республиканской традиции, ЛГБТ-сообществ и этнокультурных меньшинств, а с другой стороны – историков (и в меньшей мере политологов и социологов), исследующих как Великобританию, Францию и Германию, о которых писал Хабермас,

---

<sup>47</sup> На русском языке на эту работу обычно ссылаются как на «Фактичность и значимость», что, кажется, совершенно запутывает понимание общей темы – противопоставления фактов и ценностей (норм, правил, законов): *Habermas J. Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*. Frankfurt am Main: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1992. См. также английский перевод книги Хабермаса, особенно две главы о делиберативной демократии и гражданском обществе – «Deliberative Politics: A Procedural Concept of Democracy» и «Civil Society and the Political Public Sphere» в: *Habermas J. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge, MA: MIT Press, 1996. P. 287–387.

<sup>48</sup> «[Хабермас] утверждает, что он придает большее значение участию граждан в делиберативной публичной сфере, чем это обычно делается в либеральной традиции; однако он предлагает более ограниченную и прописанную в законе роль участия, чем „республиканская“ традиция, таким образом создавая гибридную теорию дискурса, сочетающую лучшие черты обеих традиций. При этом мы все еще можем корректно описывать его теорию как „либеральную“ в широком смысле европейского либерализма, инициированного Бенжамином Констаном...»: «[Habermas] argues that he gives more weight to citizen participation in deliberative public spheres than the liberal tradition, yet he gives a more limited and legally constituted role to participation than the „republican“ tradition, thus creating a hybrid, discourse theory, that combines the best features of both traditions. It is still correct to call his theory a „liberal“ theory in the broad sense of European liberalism initiated by Benjamin Constant...» (*Tully J. On the Global Multiplicity of Public Spheres*. P. 176). Сходный аргумент можно найти в работе: *Ferree M., Gamson W., Gerhards J., Rucht D. Four Models of the Public Sphere in Modern Democracies // Theory and Society*. 2002. Vol. 31. № 3. P. 289–324.

<sup>49</sup> Кристиан Фукс предлагает более свежий вариант на эту тему: «Любая критическая теория коммуникации должна с неизбежностью брать работы Хабермаса как исходную точку. Однако это не означает, что теория Хабермаса представляет собой окончательную истину в этом смысле. Сама его теория должна быть рассмотрена конструктивно-критически, с тем чтобы мы могли основываться на Хабермаса и идти вместе с Хабермасом дальше Хабермаса» (*Fuchs Ch. Critical Theory of Communication*. London: University of Westminster Press, 2016. P. 177).

так и другие европейские страны, США, Азию, а к настоящему моменту уже почти все регионы и страны мира.

Историографический дебют философа Хабермаса стал серьезным импульсом для развития историко-культурной и нормативной рефлексии о публичной сфере, но остался уникальным моментом в биографии мыслителя. Как мы отмечали выше, в ходе своей творческой эволюции Хабермас сдвинулся в сторону полемики с политическими философами и теоретиками демократии и философами права, тогда как «Структурная трансформация публичной сферы» оказалась программной для сотен исторических исследований, изучавших эпоху Просвещения<sup>50</sup>, памфлеты, художественную словесность, прессу и тайные общества в Северной Америке XVIII–XIX веков<sup>51</sup>, Латинской Америке «эпохи революций»<sup>52</sup>, кофейни Исфагана в Иране Сефевидов XVI–XVII веков<sup>53</sup> или первые газеты в Китае XIX века<sup>54</sup>, и, наконец, для целого направления сравнительных исторических исследований<sup>55</sup>. Одновременно в применении к более современному контексту понятие публичной сферы стало инструментом критики, апологии и трансформации складывавшихся после Второй мировой войны режимов западной либеральной демократии. В последние тридцать лет рефлексия политических режимов в этих терминах активно идет и в развивающихся странах. Богатству и сложности трансатлантической ветви дискуссий мы во многом обязаны посреднической и просветительской роли больших конференций и серии работ американского социолога Крейга Калхуна<sup>56</sup>.

Так, Нэнси Фрейзер во влиятельной статье «Переосмысляя публичную сферу: к критике реально существующей демократии»<sup>57</sup>, подготовленной для сборника статей о Хабермаса под редакцией Калхуна, сформулировала ряд ключевых положений, во многом определивших уважительное и заинтересованное, но критическое восприятие идей Хабермаса феминистскими и левыми либеральными движениями в США и Западной Европе<sup>58</sup>. Мы хотим подробнее остановиться на аргументах Фрейзер. Признавая фундаментальную важность и необходимость категории публичной сферы Хабермаса для «критической социальной теории и демократической практики», она последовательно критикует как современные западные демократии, так и существенные положения Хабермаса за их неадекватность потребностям исключенных из публичной политики социальных групп. Для американского философа важно освободить публичность от модели единой, гомогенной, маскулиноцентричной буржуазной сферы якобы откры-

---

<sup>50</sup> О восприятии работы Хабермаса западными историками, специалистами по культуре Просвещения, см.: *Van Horn Melton J. Introduction. What is the Public Sphere? // Van Horn Melton J. The Rise of the Public in Enlightenment Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 1–15; там же см. библиографию вопроса. См. также статью: Goodman D. Public Sphere and Private Life: Toward a Synthesis of Current Historiographical Approaches to the Old Regime // History and Theory. 1992. Vol. 31. № 1. P. 1–20.*

<sup>51</sup> *Waterman B. The Bavarian Illuminati, the Early American Novel, and Histories of the Public Sphere // The William and Mary Quarterly. Third Series. 2005. Vol. 62. № 1. P. 9–30; Wach H. Civil Society, Moral Identity and the Liberal Public Sphere: Manchester and Boston, 1810–1840 // Social History. 1996. Vol. 21. № 3. P. 281–303.*

<sup>52</sup> *Uribe-Uran V. M. The Birth of a Public Sphere in Latin America during the Age of Revolution // Comparative Studies in Society and History. 2000. Vol. 42. № 2. P. 425–457.*

<sup>53</sup> *Emami F. Coffee Houses, Urban Spaces, and the Formation of a Public Sphere in Savafid Isfahan // Muqarnas. 2016. Vol. 33. P. 177–220.*

<sup>54</sup> *Wagner R. The Early Chinese Newspapers and the Chinese Public Sphere // European Journal of East Asian Studies. 2001. Vol. 1. № 1. P. 1–33.*

<sup>55</sup> *Koller A. The Public Sphere and Comparative Historical Research: An Introduction // Social Science History. 2010. Vol. 34. № 3. P. 261–290.*

<sup>56</sup> См.: *Habermas and the Public Sphere; Calhoun C. Constitutional Patriotism and the Public Sphere: Interests, Identity, and Solidarity in the Integration of Europe // International Journal of Politics, Culture, and Society. 2006. Vol. 18. № 3–4. P. 257–280; Idem. The Public Sphere in the Field of Power // Social Science History. 2010. Vol. 34. № 3. P. 301–335.*

<sup>57</sup> *Fraser N. Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy // Habermas and the Public Sphere. P. 109–143.*

<sup>58</sup> Обзор феминистской рецепции Хабермаса в США см.: *Feminists Read Habermas: Gendering the Subject of Discourse / ed. by J. Meehan. New York: Routledge, 1995.*

того и нейтрального обсуждения политических вопросов всеми гражданами, которая, по ее мнению, навязывает и исключает больше, чем предполагает Хабермас.

В части своих тезисов Фрейзер опирается на работы историков Джеффа Эли и Джоан Ландес<sup>59</sup>, которые показали, что видимость открытости и всеобщего доступа к буржуазной публичной сфере «золотого века» скрывали *вытеснение* женщин, раньше игравших важную роль во французских салонах, а также формирование сетей *закрытых* клубов и ассоциаций в Англии, Франции и Германии, члены которых чувствовали себя привилегированным сословием и культивировали свое отличие от других слоев (*distinction* – отличие или различие по Бурдьё)<sup>60</sup>. Как хорошо показывает Талли, Хабермас не утверждал обратного: он явно оговаривал исключение женщин, упоминал «плебейскую публичную сферу» и указывал на исключительную важность буржуазного ценза<sup>61</sup>. Здесь речь идет скорее об исследовательском интересе и выборе аналитического фокуса, сосредоточенного именно на буржуазной публичной сфере. Опираясь на доступную в то время историографию, Хабермас подчеркивал, что описывал структурно ограниченный феномен в нормативном ключе, включавшем и рефлексивность Канта. Но, пожалуй, более серьезным для Фрейзер и других феминистских мыслителей оказывается то, что немецкий философ вовсе упускает из виду важное обстоятельство (впрочем, как отмечает Ами Аллен, в конце 1950-х годов это упущение было всеобщим для историков)<sup>62</sup>: историография публичности совсем не замечала развития альтернативных контрпубличных сфер женщинами, которые пытались пробиться сквозь «стеклянный потолок» официальной мужской публичной сферы.

В частности, Мэри Райен прослеживает формирование параллельной сети женских ассоциаций, филантропических обществ, изданий и клубов, а также организацию протестов и демонстраций в Америке XIX века<sup>63</sup>. Историография, к которой обращался Хабермас, в этом отношении не просто неточна. Она как бы вновь исключает женщин из сферы публичности уже в реконструкции прошлого, сужая публичность до официальной и игнорируя успешные стратегии протеста и предъявления своей позиции представительницами женского движения. Развивая критику Эли и предположительно заимствуя понятие контрпублик у Негта и Клюге (без ссылки на этих авторов), Фрейзер видит здесь недооценку изначальной конкуренции и конфликтов *между* различными публиками и публичными сферами. Мужчины буржуа, обсуждавшие общественный интерес в области экономической политики, не только противостояли королевской власти, но и старательно ограничивали влияние женщин и сдерживали народное давление снизу. С точки зрения Эли, такое прочтение истории свидетельствует о том, что буржуазная публичная сфера была скорее новым типом господства, основанным на идеологической гегемонии (Грамши) нового класса и сконструированном согласии остальных.

Однако Фрейзер предлагает отойти от историографического дебата и выносить ценностное суждение по существу предлагаемой Хабермасом модели публичной сферы. Американский философ ставит под вопрос четыре центральных нормативных предположения

---

<sup>59</sup> Eley G. Nations, Publics, and Political Cultures: Placing Habermas in the Nineteenth Century // Habermas and the Public Sphere. P. 289–340; Landes J. Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1988.

<sup>60</sup> См.: Бурдьё П. Различение: социальная критика суждения / пер. с фр. О. И. Кирчик // Западная экономическая социология: хрестоматия современной классики / сост. и науч. ред. В. В. Радаев. М.: РОССПЭН, 2004.

<sup>61</sup> «Хабермас признает существование других типов современных публичных сфер, таких как „плебейская“ (рабочего класса, анархистская, радикально демократическая) и „плебисцитарная“ (популистская), и он обсуждает также другие значения „публичной сферы“ в европейских языках (немецком, французском и английском). Скорее он решает сконцентрироваться почти исключительно на истории, нормативной реконструкции и эмансипаторном потенциале буржуазной публичной сферы, а не на ее альтернативах» (Tully J. On the Global Multiplicity of Public Spheres. P. 175).

<sup>62</sup> Allen A. The Public Sphere: Ideology and/or Ideal? // Political Theory. 2012. Vol. 40. № 6. P. 822–829.

<sup>63</sup> Ryan M. Women in Public: Between Banners and Ballots, 1825–1880. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 1990.

Хабермаса, отражающих и дополняющих историческую модель ранней буржуазной публичной сферы, и заключает следующее:

1) невозможно вынести за скобки рационального обсуждения подлинное социальное неравенство;

2) в стратифицированных и в эгалитарных обществах коммуникация в рамках единой публичной сферы менее демократична, чем соревнование нескольких (контр)публичных сфер, основанных на культурных идентичностях или различии в статусах;

3) исключение «частных» и групповых интересов в пользу обсуждения «общего блага» лишает меньшинства права изменять границы частного и общественного, которые не являются объективно заданными и отражают соотношение сил предыдущего периода;

4) демократическое обсуждение не предполагает строгого разделения на гражданское общество, формирующее общественное мнение, и аппарат, принимающий решения, так как, например, парламент, ядро делиберативных режимов, сочетает в себе обе функции.

Фрейзер буквально переворачивает острие критики Хабермаса, осуждавшего продвижение частных интересов в общей дискуссии, подспудно вводя новое основание: не общий интерес частных лиц, а оспаривание и устранение неравенства *между* разными группами (по умолчанию – в пользу «субальтерных контрпублик») должны быть главным содержанием публичного обсуждения и демократической политики сегодня. По мысли Фрейзера, необходимо изменить нормативную установку Хабермаса для того, чтобы она могла служить потребностям «реально существующих» демократических обществ, в частности в современных ей США. Точнее говоря, потребностям достаточно большого количества групп интересов, в широком и не всегда точном смысле слова меньшинств, актуальной ставкой которых оказывается продвижение своих интересов внутри общей публичной сферы, как правило враждебной или неприспособленной для достижения этих целей. Фрейзер показывает, что даже в идеальный золотой период за театральным занавесом рациональности и открытости обсуждения скрывался групповой интерес мужской образованной буржуазии, исключая и подчиняющий другие непредставленные группы.

Строго говоря, оригинальная интерпретация Хабермаса не противоречит этой критике, так как он утверждал, что именно *внутри* ранней буржуазной публичной сферы возник близкий к идеальному характер обсуждения. Дискуссия приближалась к делиберативному идеалу ровно в силу уникальных структурных социальных ограничений, обеспечивавших гомогенность интересов и социального статуса буржуазии, чему и посвящена большая часть книги Хабермаса. Более того, в своем комментарии к полемическим эссе, собранным Калхуном по случаю перевода «Структурной трансформации публичной сферы» на английский язык, немецкий мыслитель еще раз подчеркивает, что даже этот ограниченный, но по духу универсалистский дискурс буржуазной публичной сферы сделал возможным будущую правовую эмансипацию и интеграцию в общественный диалог ранее исключенных групп, в том числе рабочего и феминистского движений<sup>64</sup>. Ключевой аргумент Хабермаса остается в силе: ранняя буржуазная публичная сфера однажды создала и *осознала* как норму идеальную модель, которая остается актуальной сегодня как инструмент самокритики и улучшения западных демократий. Впрочем, следующий шаг феминистской критики буржуазной публичной сферы более радикален и касается представлений об этой норме.

Фрейзер утверждает, что в силу отсутствия механизмов, способных гарантировать равный доступ, и по причине неустранимого конфликта интересов низшие, субальтерные группы могут и должны создавать собственные анклавные и использовать публичность для разработки локальных символических репертуаров, а также для протестного, провокационного и оспаривающего типа коммуникаций, а не только и не столько для рациональной дискуссии. Ран-

---

<sup>64</sup> Habermas J. Further Reflections on the Public Sphere. P. 428–429.

няя буржуазная публичная сфера по Хабермасу позволяла на равных обсуждать и находить оптимальные решения общезначимых вопросов. Публичная сфера «реально существующих демократий» – это арена противоборства очень разных (хотя уже не противоположных, как в марксизме) интересов и групп, которые находятся в конфликте, требуют перераспределения экономических ресурсов в свою пользу и борются за свой образ жизни и символическое признание. Условия для уважительного рационального обсуждения здесь заведомо не выполняются или объявляются проявлением господства конкретной группы, что диктует необходимость новой нормы дискурсивного поведения, уже не нацеленного на консенсус, но не принимающего прямое насилие и подавление. В данном случае Фрейзер критически обращается к одному из ключевых предположений и проблематичных утверждений в теории раннего Хабермаса<sup>65</sup>.

Феминистская рецепция Хабермаса признает принципиальную важность публичной сферы и полемики как основы подлинно демократических сообществ и видит в ней ресурс для достижения политических и социальных целей движения. Но «идеализация» буржуазной маскулинной публичной сферы Нового времени, предполагающая ориентацию на рациональное обсуждение общего интереса, исключая постановку «частных» вопросов, а также допускающая акцент на достижение консенсуса, оказывается не соответствующей политической повестке феминизма.

Мы могли бы назвать такую интерпретацию публичной сферы легитимацией мирного символического сопротивления в противовес поиску источников консенсуса у Хабермаса. Татьяна Вайзер систематически рассматривает этот тип аргументации, сформировавшийся в ответ раннему Хабермасу, как теории значимого диссенсуса<sup>66</sup>, изучая работы Нэнси Фрейзер, Шанталь Муфф и Айрис Марион Янг<sup>67</sup>. В своей теории права как моральной сферы Хабермас по-своему интегрирует антагонистический плюрализм частных публичных сфер с центральной ролью либеральной публичной сферы, находящейся в сердце общественных коммуникаций и способствующей переводу общественного мнения в политические и административные решения<sup>68</sup>. Фрейзер в целом поддерживает идею медирующей центральной инстанции подобного рода, но Муфф, Макинтайр, Бенхабиб и Янг ставят под вопрос и гносеологические основания предполагаемого универсального, рационального и культурно нейтрального способа приходить к согласию по вопросам общежития в современном гетерогенном мультикультурном контексте. Они подчеркивают принципиальную невозможность или манипулятивный характер любой якобы независимой площадки, стилистики и процедуры обсуждения, включая саму гегемоническую природу «рациональности», лежащей в основе проекта Хабермаса, с одной стороны, и онтологический статус различий, страстей и плюральности, с другой стороны. Янг, одна из критиков идеологии рационализма в публичной сфере, подчеркивает важность различных форм публичной коммуникации, включая ее эмоциональные и символические аспекты<sup>69</sup>.

---

<sup>65</sup> «Исчезновение публичности внутри крупных организаций (как государственных, так и общественных) и в еще большей мере стремление ее избежать в их взаимодействиях друг с другом являются результатом неразрешенной множественности конкурирующих интересов; эта множественность в любом случае делает сомнительным, что однажды может возникнуть общий интерес, на который публичное мнение могло бы сослаться в качестве критерия» (*Habermas J. Structural Transformation of the Public Sphere*. P. 234).

<sup>66</sup> См. подробнее: *Вахитайн В. С., Вайзер Т. В.* Сообщества и коммуникация: Трансформация социальных механизмов формирования солидарности. См. также оригинальный анализ «агонистического плюрализма» Муфф: *Савин Н.* Порывая с Карлом Шмигтом: Понятие политического в теории агонистического плюрализма // *Логос*. 2015. № 6 (108). С. 163–179.

<sup>67</sup> *Young I. M.* *Inclusion and Democracy*. Oxford: Oxford University Press, 2000; *Mouffe Ch.* *Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism* // *Social Research*. 1999. Vol. 66. № 3. P. 745–758.

<sup>68</sup> *Habermas J.* *Between Norms and Facts*. P. 363–374.

<sup>69</sup> *Young I. M.* *Intersecting Voices: Dilemmas of Gender, Political Philosophy, and Policy*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997.

В этом смысле результат самой этой полемики на настоящий момент ближе к диссенсусу со взаимно проясненными философскими основаниями.

## II. Режимы публичности, или Что дает словам вес

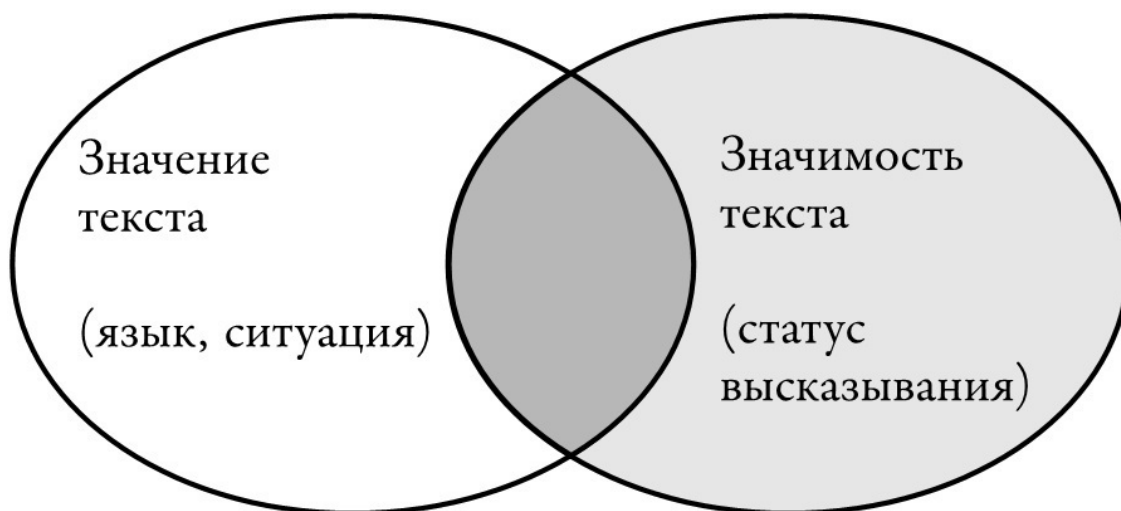
В нашем сборнике большинство авторов можно отнести к тому типу последователей-и-критиков Хабермаса, кто применяет и адаптирует «идеальную» буржуазную модель публичной сферы к различным историческим периодам и анализирует эмпирические кейсы на фоне этой нормативной модели (как поддерживающие ее или противоречащие ей). При этом нам кажется важным, следуя оригинальному ходу раннего Хабермаса, вернуться к переосмыслению политической философии публичности *на основе и после* анализа отечественного исторического материала. Мы хотим продолжить ревизию исследовательских инструментов истории публичности, а также возможности их интеграции с хорошо известными методами анализа общественных языков (идиом), дискурса и авторских высказываний. В сборнике представлены первые результаты взаимодействия двух методологических перспектив в изучении интеллектуальной истории России:

1) анализа публичной сферы и режимов публичности, понятых не в нормативном, но в историографическом смысле как условий политической значимости публичной речи (Хабермас);

2) анализа речевых актов мыслителей и политиков в контексте и исследование эволюции общественно-политических языков (Кв. Скиннер, Дж. Покок).

Что содержательно нового дает первая перспектива и сочетание этих двух дисциплинарных полей для исследований в жанре русской интеллектуальной истории? Основное преимущество подобной оптики связано с возможностью рассматривать как *значения* конкретных высказываний, реконструируемых в рамках аналитического подхода к языку и речи, так и эволюцию политической *значимости* (удельного веса) высказываний, которую легче осмыслить в рамках «континентальной» теории и философии публичности. Анализ политического контекста и конвенционального языка, на котором автор обращается к аудитории со своим сообщением, дает ответ на вопрос о его значении, смысле. Однако в одно время публичные высказывания имеют большой резонанс и могут превратить Генеральные штаты в Национальную ассамблею или гласность в свободу слова, а в другое время большинство полемических текстов и речей оставляет аудиторию равнодушной или сталкивается с цензурой и давлением властей, менее склонных к терпимости и менее уверенных в силе своей армии, чем Фридрих Великий. Стремясь понять политический вес или значимость конкретного высказывания, мы предлагаем анализировать социальную позицию автора и локальный *режим публичности* в конкретную эпоху и в заданном общественном пространстве.

Упрощенно мы можем представить следующую схему: а) господствующий подход к интеллектуальной истории, включая методы Кембриджской школы, ориентирован на понимание *значений* конкретных текстов в их языковом контексте; б) постмарксистская социальная история дискурса обращает внимание на структурные условия *значимости* публичных и/или частных высказываний и на изменения этих условий; в) мы предлагаем в исследовании конкретных кейсов совмещать две логики, что особенно важно для понимания динамических процессов, когда в исторически коротком времени меняются и значение, и значимость текстов и высказываний. В этих случаях, строго говоря, невозможно восстановить значение текста без анализа изменения значимости или статуса высказывания. При этом отдельные ключевые высказывания и тексты могут в свою очередь менять условия или воздействовать на условия значимости некоторых других или даже всех последующих высказываний.



Эта методологическая перспектива помогает историкам публичной культуры ответить на вопрос: при каких условиях слова и дебаты обретают политический вес и значимость, становятся социально-политическими орудиями и действиями, а когда слова и дебаты оказываются бессильны или неслышны для других сограждан? В терминах позднего Хабермаса это также и вопрос о том, при каких условиях речевые действия создают «коммуникативную власть». В каком случае они становятся инструментом властных отношений или репрезентации, а в каких действительно создают новую ткань коммуникативной власти? Когда публичная речь как жанр девальвируется и теряет значимость, способность «производить»? Какова социальная структура публичных коммуникаций, которая обеспечивает или ограничивает содержательную публичную дискуссию как способ ненасильственного достижения согласия (коммуникативного или аккламационного)? Разные версии и «пропорции» в интеграции двух подходов – анализ *речевых актов* и анализ *режимов публичности* – представлены в части статей сборника на материалах российской истории XVIII–XXI веков.

Во многом сходную перспективу, включающую проблематизацию публичной сферы и статуса политической речи, предложил Роже Шартье в полемике с Китом Майклом Бейкером о методике исследования истории Французской революции<sup>70</sup>. В революционный период речь становится политическим действием не только в силу ее универсальных антропологических характеристик, но и из-за предшествующих или актуальных изменений социальной и материальной инфраструктуры, которая создает поле коммуникации и придает высказываниям значимость или вес<sup>71</sup>. Отечественный опыт содержит важное для континентальной традиции интеллектуальной и политической истории измерение, связанное с тем, что мы можем обозначить как меняющийся в Новое время *статус публичного высказывания*.

Во Франции, Германии и России публичная речь в Новое время становится политической. Великая французская революция и очерченный Райнхартом Козеллеком период *Sattelzeit* по-своему воплощают относительно недавние разрывы в политических и социальных институтах и модусах коммуникации во Франции и Германии. Эти два разных по содержанию и по длительности периода трансформации задали сходные базовые метафоры радикального обновления или смены эпох как рамки для научного исторического нарратива. Для понимания социально-политического и исторического контекста интеллектуальной истории в России ближе

<sup>70</sup> См. подробнее: *Baker K. M. Inventing French Revolution: Essays on French Political Culture in the Eighteenth Century.* Cambridge: Cambridge University Press, 1990. Разбор некоторых методологических положений Бейкера в этой связи: *Атнашев Т. М., Велижев М. Б.* История политических языков в России: К методологии исследовательской программы // *Философия. Журнал высшей школы экономики.* 2018. № 3. С. 119, 123.

<sup>71</sup> См. подробнее: *Шартье Р.* Культурные истоки Французской революции.

континентальная традиция с ее вниманием к качественным изменениям и разрывам в политической и интеллектуальной традиции и особенно новому современному статусу публичной речи. Напротив, в Британии и США для исследователей раннего и позднего Нового времени речь идет не столько о появлении радикально нового, сколько о достаточно долгой *эволюции* или даже о восстановлении моделей добродетельного правления и обычаев недавнего или далекого прошлого.

Англоязычная традиция интеллектуальной истории исходит из презумпции, что режим коммуникации, в котором мыслители, политики и публицисты ведут полемику, по умолчанию задан и существенно не меняется во времени. Для Скиннера, Покока или Мартина ван Гелдерена интеллектуальная коммуникация между мыслителями, полемизирующими с помощью текстов, почти не зависит от наличия или отсутствия цензуры, появления печатного станка, степени публичности или места говорящего в политической иерархии. Внимание англоязычных исследователей в большей мере сосредоточено на интеллектуальных и языковых ходах и значении текстов, а не на изменениях значимости высказываний и анализе политико-экономических условий, в которых публичная речь меняет свою значимость или статус. В упомянутой выше полемике Бейкера и Шартье два исследователя почти идеально олицетворяют разные взгляды на один и тот же предмет (Французскую революцию). Британско-американский ученый утверждает приоритет чисто лингвистического определения политики как дискурса, перформативно постулирующего или опровергающего конкретные решения или авторитет других акторов. Французский историк указывает на фундаментальную важность меняющихся практик и социальных структур, в которые включены говорящие и их слушатели. Только при определенных социальных условиях дискурс становится эффективным политическим действием.

Здесь уместно вспомнить модель студенческого спора в Оксфорде или Кембридже (или схоластического спора, упоминаемого Хабермасом), где предположительно равные по статусу и уровню образования молодые аристократы разделяют общие представления о правилах ведения осмысленной интеллектуальной дискуссии, хорошо понимают выпады друг друга и стараются сделать оригинальный ход, который было бы трудно отразить оппоненту. Речь идет об умственном фехтовании с соблюдением правил и своеобразной хореографии. Скиннеровское абстрагирование от медийного контекста и социально-политических различий статусов участников в пользу чисто языковой и интеллектуальной игры в данном случае отчасти оправданно, а отчасти незаметно для себя воспроизводит социальную модель подготовки политической элиты в ведущих британских университетах<sup>72</sup>. В этой традиции перформативность и политическая эффективность речи приписываются ее антропологической природе, которая не требует социального медиума. Подобное отождествление речи и социального действия представляется нам эвристическим для изучения сложившихся традиций политической философии, но оно становится слишком сильным упрощением при переносе в отечественный контекст. Здесь понимание того, что сказано, важно дополнить пониманием того, в какой ситуации, кем и кому это говорится.

Взгляд раннего Хабермаса предполагает, что политико-экономическая динамика и социальная структура коммуникаций меняют характер действий, которые в принципе можно совершить с помощью публичной письменной или устной речи. Впрочем, в более поздних теоретических работах Хабермас интегрирует аналитическую перспективу Джона Остина и существенно меньший акцент делает на социально-экономические условия и задаваемые ими ограничения или возможности. Вопреки направлению эволюции немецкого философа, нам кажется важным восстановить *исходный вопрос* о связи социальных условий и перформатив-

---

<sup>72</sup> В качестве примера того, как почти «идеальная» модель подобного рода спора выдерживает давление фундаментальных политических и социальных конфликтов и изменений, см. знаменитую дискуссию Болдвина – Бакли 1962 года в Кембридже: <https://aeon.co/videos/the-legendary-debate-that-laid-down-us-political-lines-on-race-justice-and-history>.

ного характера речи конкретных авторов/акторов. Исследование публичной сферы и меняющихся режимов публичности дает возможные инструменты для дальнейших разысканий в этой области.

Мы заимствуем понятие «режим публичности» у американских специалистов по урбанистике и публичной сфере, для которых были важны вопросы ограничения реального и символического доступа к публичному городскому пространству<sup>73</sup>. В применении к российскому контексту оно помогает осмыслить пластичность исторической ткани, с которой мы имеем дело как исследователи. Как можно определить режимы публичности? Режимы публичности задают конвенции и правила публичных высказываний в различных жанрах, а также рамки возможных реакций на политическую речь, художественные или публицистические произведения. В зависимости от режима публичности реакция может представлять собой а) полемический ответ; б) цензуру, репрессии, санкции; либо, напротив, в) равнодушное или даже снисходительное отсутствие реакции на высказывание. Опираясь на исходную историческую реконструкцию Хабермаса и последующие критические исследования историков публичности, мы можем выделить несколько характеристик, которые вместе способны дать нам представление о национальных и локальных режимах публичности:

1) формальные и неформальные механизмы ограничения и предоставления доступа к публичной речи или демонстрации художественных высказываний на различных площадках и соответствующие ограничения;

2) иерархия (формальная или неформальная), неравная значимость высказываний разных акторов в зависимости от должности, статуса, сословия, образования, пола и т. п.;

3) механизмы цензуры, регламенты, уставы и сложившиеся конвенции и правила, регулирующие публичные высказывания (и, соответственно, санкции за их нарушение) в диапазоне от идеологического дискурса до художественных произведений;

4) практики, формы, жанры и материальная инфраструктура публичной коммуникации: трактаты, памфлеты, «толстые» журналы, газеты, открытые письма, выставочные залы, литературная и художественная критика, салонные разговоры, беседы на кухне или в кофейне, ток-шоу на телевидении, соцсети и т. п.;

5) организации или институты, обеспечивающие сферу полемики и принятия решений, обязательных для участников (клубы, парламенты, масонские ложи, суды, университеты и др.);

6) господствующие представления о допустимых источниках и способах производства нормативных утверждений и авторитетных публичных высказываний: эпистемология, ценности, канон в политической философии или в искусстве;

7) социально-экономические, юридические и политические основания для самостоятельности (зависимости) агентов, участвующих в публичной коммуникации.

По сути, в данном перечне мы разворачиваем в аналитический континуум и ценностно нейтрализуем те факторы и обстоятельства, которые у Хабермаса и ряда историков служили основаниями для нормативного истолкования или критики буржуазной и массмедийной публичной сферы как целостной системы. Почти в каждом исследовании сборника мы можем говорить о конкретном *режиме публичности* и об *эффектах публичности*, т. е. о механизмах влияния или воздействия одних акторов на других с помощью публичных высказываний. В ряде работ сборника мы также имеем дело непосредственно с дискуссиями, полемикой или с их имитацией.

Важной особенностью истории публичности в России оказывается резкость переходов и относительно частая смена режимов публичности, которые в критические периоды могут изменяться по несколько раз в течение пяти лет. Например, и степень свободы, и политическая

<sup>73</sup> Staeheli L. A., Mitchell D., Nagel C. R. Making Publics: Immigrants, Regimes of Publicity and Entry to «The Public» // Environment and Planning D: Society and Space. 2009. Vol. 27. № 4. P. 633–648.

значимость публичных высказываний в нашей стране ощутимо и нелинейно увеличивались и уменьшались в 1820-е, 1860-е, 1900-е, 1920-е, 1980-е и 2010-е годы<sup>74</sup>. Мы можем, в частности, проследить эти флуктуации на примере внедрения стенографии с 1860-х по 1900-е годы с целью публикации речей в судах, публичных лекториях, земствах и, наконец, в стенах Государственной думы (см. статью **Стивена Ловелла** в этом сборнике). Новая технология быстрой записи, позволявшая фиксировать и распространять любую устную речь, по-разному воздействовала на структуру коммуникаций в зависимости от регулярно менявшейся позиции трех императоров и других политических акторов в отношении гласности и публичности. Напротив, характер публичной сферы Хабермаса в исходной формулировке предполагал скорее долгосрочное и в целом последовательное изменение, связанное со сменой социальных формаций более высокого порядка (репрезентативная – феодализм, буржуазная – промышленный капитализм, массмедийная – поздний капитализм в марксистской версии и переход от властной иерархии к коммуникативному разуму в своей оригинальной теории эволюции)<sup>75</sup>.

Стремясь осмыслить российскую историю публичных дебатов, мы можем анализировать как долгосрочные социальные структуры коммуникаций (Ю. Хабермас, Р. Шартье), так и резкие, стремительные изменения в формах политической активности (М. Добри<sup>76</sup>). Революционные трансформации режима публичности иногда ускоряются под воздействием высказываний малоизвестных и «слабых» акторов, как мы покажем это на примере знаменитого письма Нины Андреевой (см. статью **Тимура Атнашева** в этом сборнике). Полемический текст простой преподавательницы химии несколько раз за короткое время менял свою значимость в диапазоне от безвестного «письма в редакцию» до «манифеста антиперестроечных сил». При этом его содержание, по словам генерального секретаря ЦК КПСС, адресата письма и одного из главных протагонистов – участников драмы, не имело для него «никакого значения»; важным было отсутствие консолидированной оппозиции его курсу среди членов Политбюро. Именно в этих терминах М. С. Горбачев предъявил обвинение членам Политбюро. Необычная реакция советского реформатора и его соратников на этот кризис несколько раз меняла общественное восприятие уже напечатанного текста, а затем изменила и режим публичности в стране. От управляемой гласности СССР перешел к режиму лавинообразно нарастающей свободы слова.

Напротив, резкое изменение как социально-политического контекста, так и режима публичности в момент публикации по сравнению с контекстом, в котором текст был исходно создан, также может порождать мощные и непредсказуемые для участников эффекты публичности. Этот сдвиг между контекстом написания и контекстом публикации изменил *значение* и многократно усилил *значимость* высказывания, как это произошло с публикацией первого «Философического письма» П. Я. Чаадаева<sup>77</sup>. Высказывание на французском языке, выдержанное в риторике салонного остроумного разговора о политике и историософии, становится

<sup>74</sup> Об истории публичной сферы в России XIX века см., например: *Брэдли Дж.* Общественные организации в царской России: Наука, патриотизм и гражданское общество / пер. с англ. М. Н. Карпец. М.: Новый Хронограф, 2012 (2009); *Хефнер Л.* Civil society, Burgertum и «местное общество»: В поисках аналитических категорий изучения общественной и социальной модернизации в позднимперской России // *Ab Imperio*. 2002. Vol. 3. P. 161–208; *Velizhev M.* The Moscow English Club and the Public Sphere in Early Nineteenth-Century Russia // *The Europeanized Elite in Russia, 1762–1825. Public Role and Subjective Self* / ed. by A. Schönle, A. Zorin, A. Evstratov. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 2016. P. 220–237; и др.

<sup>75</sup> Решающим фактором, опосредующим роль публичной коммуникации в политике в ранней теории публичной сферы, оказывается базовая политэкономическая структура и связанная с ней конфигурация социальных институтов и практик. Критическая философия была призвана оказать корректирующее воздействие на сложившуюся под влиянием макрофакторов систему. В более поздних версиях теории коммуникаций Хабермас подразумевает постоянное присутствие потенциала публичности и коммуникационной власти, укорененных в универсальных формах социальности и языкового общения поверх «формаций».

<sup>76</sup> *Dobry M.* Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles. Paris: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1986.

<sup>77</sup> См.: *Велижев М.* Язык и контекст в русской интеллектуальной истории: Первое «Философическое письмо» Петра Чаадаева // *Новое литературное обозрение*. 2018. № 135. С. 71–87.

радикальным и скандальным политическим высказыванием после перевода на русский язык и публикации в подцензурном журнале.

Наш подход позволяет лучше увидеть множественность и различия режимов публичности, которые могут не только сменяться, но и сосуществовать внутри одного политического сообщества. Точная реконструкция правил коммуникаций в рамках придворного этикета и представлений о них Н. М. Карамзина позволяет увидеть, как текст записки «О древней и новой России» стал острой политической репликой вопреки намерениям ее автора (см. статью **Михаила Велижева**). Сам статус придворного историографа Александра I сигнализировал скорее о репрезентативном характере публичной сферы в этот период, хотя «общественное мнение» уже становится объектом раздражения или внимания высших сановников и двора. Действительно, в начале XIX века представление об общественном мнении уже было частью политической повестки при принятии решений высшей бюрократией, хотя, безусловно, и не определяло их (см. статью **Виктории Фреде**). Одновременно подготовка амбициозных либеральных реформ в начале правления императора Александра I намеренно осуществлялась Негласным комитетом в режиме максимальной секретности. Молодые избранные соратники монарха считали себя носителями уникальных нравственных качеств, которые позволяли им честно обсуждать и принимать проекты реформ, пренебрегая мнением публики, с их точки зрения слишком непросвещенной и своекорыстной. Напротив, лишившись привилегированного доступа к трону, бывшие члены комитета стали благосклонно ссылаться на критические суждения «общественного мнения» в отношении решений монарха и высшей бюрократии. Общественное (или «общее») мнение в этот период, очевидно, уже существует как понятие и как слабый фактор влияния, но проигрывает по значимости отношениям внутри императорского двора.

Казнь и ссылка декабристов становятся одним из катализаторов долгосрочных процессов формирования официальной и субнациональных публичных сфер в городах Сибири, вводя новые практики литературных вечеров, чтения книг и публицистической полемики (см. статью **Александра Коробейникова**). В 1840–1860-е годы на этой почве возникает своеобразная «подпольная» публичная сфера, которая благодаря сибирским студентам затем оказывает влияние и на общественную жизнь в Петербурге. В самом начале XX века частичная либерализация политической сферы, при сохранении цензуры и большого количества подпольных движений, создала условия для частно-государственных инициатив, воздействовавших как на общественное мнение, так и на внешнюю политику Российской империи. Русско-галицкое общество, созданное представителями академического мира, чиновничества, духовенства и дворянства, на протяжении более десяти лет утверждало важность польско-украинской Галиции с центром во Львове как «исконно русской» земли (см. статью **Джованни Савино**). Русская национальная и панславистская общественная повестка следовала в кильватере официальной линии, но речь шла об относительно автономном проекте группы интеллектуалов, активно использовавших журнальную публицистику.

Советская история дает примеры разительного контраста и сосуществования принципиально разных типов публичной коммуникации в одном политическом режиме. Так, многочисленные письменные жалобы рабочих и репортажи рабкоров, ставшие частью целенаправленной управленческой модели гласного давления на руководство заводов и городские власти в индустриальных городах в 1920–1930-е годы «снизу вверх» для исправления реальных проблем, сосуществуют с совершенно иначе устроенной центральной публичной сферой, основанной на односторонней пропаганде, цензуре и массовых репрессиях в модели «сверху вниз» (см. статью **Константина Бугрова**).

Понятие режима также подчеркивает рукотворный и даже манипулятивный характер ограничений и институтов публичной коммуникации, которые могут вводиться или отменяться теми, кто контролирует правила высказываний и доступ к конкретному форуму, вклю-

чая как официальных лиц, так и относительно независимых игроков. Эта логика относится к приведенному выше примеру особого режима публичности в местных газетах в индустриальных городах (режим, заданный сверху, но использующий низовую критику и формирующий честную журналистику). Впрочем, ее можно использовать и при интерпретации процессов, приведших к возникновению относительно защищенных пространств художественного самовыражения в последние десятилетия существования Российской империи и в позднем СССР.

Конечно, применительно к позднему СССР и к предшествующим периодам русской истории мы не можем говорить о «буржуазной публичной сфере», которая предполагает содержательные и гласные дебаты граждан об общем для них интересе и приводит к политически значимому и консолидированному (по самым важным вопросам) общественному мнению. Для адекватного взгляда на советскую историю публичности в целом важен как анализ механизмов официальной пропаганды и контроля за любыми публичными высказываниями сверху в сочетании с «низовыми» стратегиями освоения дискурса или ухода в ритуал, так и настойчивое стремление самостоятельных акторов к творческому самовыражению и их намерение прямо и косвенно воздействовать друг на друга в «горизонтальной» плоскости, используя эффекты публичности.

Первая литературная премия в отечественной истории была учреждена частным лицом в период «Великих реформ» Александра II. Здесь гражданская инициатива предполагает автономное намерение организатора, выступающего как альтернативный центр влияния на общественное мнение по отношению к «толстым» журналам. Но парадоксальным образом для достижения этой цели он прибегает к помощи статусных членов Академии наук, придававших этой премии квазигосударственный характер (см. статью **Кирилла Зубкова**). Отмена государственной монополии на оперу в 1882 году создало новое пространство для острых художественно-публицистических высказываний и критики официальной идеологии. Оперы Н. А. Римского-Корсакова стали факторами радикализации общественной повестки страны при активной поддержке амбициозного частного мецената Саввы Мамонтова (см. статью **Джона Нельсона**).

В «застойном» СССР организаторы выставок альтернативной живописи поддерживали и по мере возможности расширяли особые пространства «частной публичности» или «неформальной публичной сферы» в квартирах, мастерских, домашних дискуссионных кружках, в научно-исследовательских институтах и в стенах многочисленных отделений официального и статусного Союза художников, на страницах журнала «Декоративное искусство» или в рамках 17-й Молодежной выставки в ЦДХ (см. статью **Марины Максимовой**). Идеологи, исполнители и кураторы циркового искусства после нескольких существенных трансформаций в советский период приходят к созданию особой «цирковой публичной сферы» – и одновременно нового социально-поэтического языка романтизируемой коллективной повседневности (см. статью **Анны Ганжи**).

Как мы отмечали выше, для российской и советской истории характерно активное использование и накопление *эффектов публичности*, которые, впрочем, не становятся устойчивой основой для совместных решений и работающих политических институтов. В этом смысле другой важной задачей, которую мы лишь затрагиваем чуть ниже и оставляем для предстоящих исследований, будет осмысление этого непростого, но богатого российского опыта успехов и неудач институционализации *сильной публики*<sup>78</sup>. Как показывает общий исторический ход трансформаций публичной сферы в близких нам европейских и неевропейских странах, переход от слабой к сильной публике происходит после большого числа неудач, откатов и повторных попыток.

---

<sup>78</sup> О классическом различении сильной и слабой публики см.: Fraser N. Rethinking the Public Sphere. P. 75–77 и ниже в нашем введении.

### III. Об эффектах, циклах и институтах публичности

Опираясь на предшествующие исследования истории публичности в России<sup>79</sup> и работы, включенные в настоящий сборник, мы попробуем дать предварительный обзор механизмов, которые приводят к сворачиванию, потере влияния или запретам публичных обсуждений и основанных на них политических институтов, а также механизмов возрождения и усиления эффектов публичности.

Одна из наиболее значимых коллективных монографий, систематически осмысляющая проблематику публичной сферы в развитие линии Хабермаса в России, – «Публичная сфера: теория, методология, кейс-стади» под редакцией Е. Ярской-Смирновой и П. Романова (Москва, 2013). Монография дает широкий теоретический обзор основных направлений в исследованиях публичной сферы (включая реферативные переводы Хабермаса и Джефа Вайнтрауба), показывает возможности изучения публичной сферы в динамике социальных институтов и практик, исследует идентичности и потенциалы социальных и политических групп в России, формулирует проблемы социального неравенства, инклюзии и репрезентации в российской публичной сфере, концептуализирует возможности политического действия. В монографии удачно соединяется исследовательская (аналитический инструментарий и методологии), академическая (пример программы учебного курса по социологии публичной сферы) и гражданско-просветительская программы. Составители сборника формулируют ключевой вопрос, каким образом россияне – посредством теоретической проблематизации и практического освоения публичной сферы – могли бы влиять на построение в России гражданского общества (формировать общественное мнение, разделять общие интересы, отстаивать свои права, проявлять навыки самоорганизации и принципы солидарности): «Как формируется в новой публичной сфере субъект высказывания, какие мотивы, механизмы и ресурсы требуются для социального действия, движимого принципами социальной инклюзии? Каким образом формируется гражданское самосознание, идентичность участника коммуникации, катализируются процессы гражданского участия по вопросам прав людей с инвалидностью, мигрантов и другим социально значимым вопросам?»<sup>80</sup>

Мы также хотим особо отметить один из ярких международных проектов, где удачно сочетается западный теоретический бэкграунд и эмпирический ландшафт современной российской публичности, – тематический спецвыпуск журнала *The Public (Javnost')* «The Public Sphere in Russia between Authoritarianism and Liberation», посвященный современному (2010-х годов) состоянию публичной сферы в России и составленный российскими авторами<sup>81</sup>. Спецвыпуск анализирует ряд кейсов и симптоматических диспозиций современной публичной сферы в России в колебаниях между авторитаризмом и либерализацией. В спецвыпуске ухвачены основные импульсы и тенденции в развитии российской публичности сегодня: сворачивание демократических процедур в условиях монополизации медиа; технологии манипуляции

---

<sup>79</sup> В дополнение к цитируемым выше работам мы можем обратить внимание на ряд политтеоретических и исторических исследований институтов публичности в России, в которых используется понятийный аппарат раннего Хабермаса, связанный с буржуазной публичной сферой: *Малинова О. Ю.* Идеологический плюрализм и трансформация публичной сферы в постсоветской России // *Полис*. 2007. № 1. С. 6–21; *Chebankova E.* The State and the Public Sphere in Russia // *Demokratizatsiya. The Journal of Post-Soviet Democratization*. 2011. Vol. 19/4. P. 317–341; *Loewenstein K.* Re-Emergence of Public Opinion in the Soviet Union: Khrushchev and Responses to the Secret Speech // *Europe-Asia Studies*. 2006. Vol. 58. № 8. P. 1329–1345; *Spedren von Öffentlichkeit in Gesellschaften sowjetischen Typs: Zwischen partei-staatlicher Selbst-inszenierung und kirchlichen Gegenwelten / Public Spheres in Soviet-Type Societies: Between the Great Show of the Party-State and Religious Counter-Cultures* / ed. by G. T. Rittersporn, M. Rolf, J. C. Behrends. Frankfurt am Main, 2003.

<sup>80</sup> Публичная сфера: Теория, методология, кейс-стади. С. 9–10.

<sup>81</sup> *The Public*. 2020. Vol. 27 (1). Special Issue: The Public Sphere in Russia between Authoritarianism and Liberation / guest ed. by G. Yudin, T. Weiser. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13183222.2020.1675432>.

общественным мнением посредством опросов; механизмы формирования общественного консенсуса средствами медийной «просветительской» пропаганды; стратегии контроля публичных дискуссий, деполитизации общественного участия и нейтрализации политического действия. С одной стороны, авторы проекта исследуют то, как опросы общественного мнения и пропагандистские медийные проекты, замещая собой публичные дискуссии и референдумы, обеспечивают поддержку и легитимность действующему режиму и превращаются в инструмент установления гегемоний. С другой стороны, исследователи показывают, как низовые grassroots движения осваивают публичные пространства «вопреки» монополизации и косвенному «запрету» на публичность со стороны властей, позволяют проявиться недорепрезентированным сообществам и сигнализируют о наличии скрытых или по умолчанию нейтрализуемых, вытесненных из повестки политических конфликтов.

Этот уже достаточно богатый исторический корпус материалов и предложенная коллегами активная теоретическая проблематизация позволяют нам сделать два предварительных вывода. Во-первых, скорее предсказуемо, деградация в практиках публичного обсуждения происходила под давлением политического руководства, реагирующего на угрозы, или превентивно укрепляющего власть в стране, или повышающего контроль единоличного правителя над элитами и исполнительным аппаратом. В этом ряду можно указать на очень разные периоды: усиление цензуры и создание официальной идеологии в эпоху Николая I; сталинские клаки, запугивания и усиливавшиеся с конца 1920-х годов массовые репрессии против партийной элиты; ужесточение идеологического контроля над официальной печатью, борьба с самиздатом и неформальными практиками в период «застоя»; растущие законодательные ограничения и давление на независимых журналистов и политиков, а также демонстративные точечные репрессии 2010-х годов.

Во-вторых, делиберативные институты и общественная полемика часто исчезали или теряли значение иным образом – не только под воздействием политических лидеров, стремящихся обеспечить техническую монополию на публичную коммуникацию. Адаптация делиберативных практик в российской истории несколько раз а) становилась катализатором политических кризисов, потери власти инициаторами гласности и распада властных механизмов или б) оборачивалась эскалацией низового насилия в ситуации, когда высшее руководство в целом было заинтересовано в публичных дебатах или ослаблено по другим причинам. К этим явлениям можно отнести также очень разные периоды: неудавшееся восстание декабристов, рост терроризма и его поддержки со стороны общественного мнения при Александре II, слабость Временного правительства в 1917 году, сворачивание внутривластных дискуссий и фракций в конце 1920-х годов, быстрое падение авторитета Съезда народных депутатов СССР в 1990–1991 годах и острый конфликт Верховного Совета РСФСР и президента Ельцина в 1993 году. В этих случаях возврат к политическому насилию или к монополизации публичной речи следовал за неудачей введения делиберативных механизмов. В ситуации деградации публичности делиберативные механизмы оказывались неспособными канализировать и сдерживать уровень конфликтности между ключевыми игроками. Они не порождали столкновений, т. е. не были их причиной, но часто делали их более явными и острыми. Говоря проще, люди и политические элиты не обладали способностью договариваться о правилах или решать конфликты путем совместного обсуждения<sup>82</sup>.

Сложность формирования культуры публичной дискуссии иллюстрирует оригинальный жанр публичности, который с середины 1960-х годов переворачивает логику «открытых писем» в поддержку самых жутких официальных инициатив сталинского периода (см. статью

---

<sup>82</sup> Ср. сходные аргументы о навыках и практиках публичных дебатов в современной России в статьях сборника «„Синдром публичной немоты“»: Гладарев Б. Опыты преодоления «публичной немоты»: Анализ общественных дискуссий в России начала XXI века // «„Синдром публичной немоты“». С. 110–137; Касаткина А. Садоводческие товарищества в поисках нового смысла: Анализ дискурса общих собраний // Там же. С. 138–148.

**Ольги Розенблюм**). Коллективные и индивидуальные письма известных писателей, религиозных деятелей, представителей национальных меньшинств и политических диссидентов можно классифицировать в диапазоне от писем-просьб, убеждающих высокопоставленного адресата исправить ошибочное решение нижней инстанции в конкретном вопросе, до обличающих гражданских писем<sup>83</sup>. В условиях тотальной предварительной цензуры письма также позволяли смелым советским гражданам озвучивать свою позицию и создавать особую полупубличность, основанную на циркуляции документов в самиздате или в передачах зарубежных «радиоголосов». В наиболее значимых случаях, таких как «письмо 25-ти» против реабилитации Сталина в 1966 году, авторам удавалось оказать влияние как на политическое руководство, так и на более эфемерную, но по-своему реальную субстанцию общественного мнения в СССР. При этом Розенблюм подчеркивает, что с конца 1960-х годов жанр «полуоткрытых» писем не предполагал содержательной полемики и спора, но скорее служил способом обозначить позицию.

Тезис А. Юрчака о «внеаходимости»<sup>84</sup> и выходе публичной речи за пределы ритуализированных смыслов точен как описание общей динамики публичности в позднесоветский период. В этом смысле прямой перенос идеально-типической модели буржуазной публичной сферы на советский опыт будет неадекватен (см. статью **Маргариты Павловой**). В частности, в этой перспективе мы можем анализировать ритуализированные формы дискуссий на основе протоколов сельских партсобраний, хотя, возможно, мы видим и более творческое использование этих форумов их участниками, которое можно описывать и в терминах режимов публичности (см. статью **Татьяны Ворониной, Анны Соколовой**). В ходе собраний участники обучались советскому официальному языку, скорее инкапсулировавшему реальные проблемы и запросы жителей. В свою очередь, сельские коммунисты постепенно осваивали технику содержательной коммуникации с райкомом, используя конвенции протоколов собраний, выходя за исходно заданный периметр.

Таким образом, политическая значимость публичных высказываний и дебатов регулярно оказывается ограниченной, с одной стороны, цензурой и репрессиями или пренебрежением держателей верховной власти к другим акторам и, с другой стороны, взаимным равнодушием, раздражением, неумением обсуждать, глухотой или агрессивностью индивидов, которые разочаровались в возможностях диалога как с властью, так и между собой. У граждан и подданных порой *получается* влиять друг на друга с помощью гласной речи и различных форм выражения позиций, но содержательная полемика оказывается слишком опасной или бесплодной. Для нас важно интегрировать две эти на первый взгляд противоположные перспективы. Следуя за движением Хабермаса от истории к политической теории, мы можем предложить предварительную динамическую схему трансформаций российской публичности, которая поможет поставить вопросы в жанре политической философии.

Угроза репрессий олицетворяет *внешнее* давление на публичную речь другого, а устойчивое разочарование, террор снизу или взаимное озлобление спорящих в режиме гласности указывает на структурные, культурные или социальные ограничения *внутри* самой ситуации открытой коммуникации, слабость навыков публичных дебатов, способных приводить к общим решениям и хотя бы к частичному согласию. Равнодушие к чужой речи, привычное разочарование в возможности договориться с предположительно нечестными (незначимыми, необразованными, злонамеренными, неразумными, нерукопожатными) партнерами или неумение вести дебаты и принимать совместные решения в группе – это структурные, соци-

---

<sup>83</sup> Недавние случаи общественной реакции в современной России на дела Ивана Голунова, «Сети» и «Нового величия» кажутся отчасти близкими по жанру к открытым письмам-просьбам, созданным в конце оттепели. Этот вопрос требует отдельного рассмотрения.

<sup>84</sup> См.: Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение, 2019.

альные ограничения, которые нельзя устранить с помощью очередного закона или доброй воли нового руководства. Как отмечает О. Хархордин, такие ограничения преодолеваются и снимаются локальными микропрактиками и достаточно массовым обучением многих и каждого из нас<sup>85</sup>.

К счастью, как мы видели, достаточно регулярно в отдельных социальных нишах в России формируются локальные режимы публичности, прямо не связанные с официальной публичной сферой. Внутри таких относительно защищенных от политического давления локальных режимов публичности постепенно возникает коммуникация с большой степенью автономии и свободы высказываний. Более того, руководители государства несколько раз добровольно или под внешним давлением делали серьезную ставку на *содействие* гласности и делиберативным механизмам, как правило одновременно встраивая существенные ограничения на их применение (Екатерина II, Александр I, Александр II, Николай II, В. И. Ленин, Н. С. Хрущев, М. С. Горбачев, Б. Н. Ельцин): в такие периоды происходила значительная либерализация режимов публичности или официальной публичной сферы страны в целом.

Парадоксальный и по-своему уникальный пример успешного сближения позиций очень разных участников – создание в 1981 году Клуба-81 в Ленинграде на базе неофициального культурного движения, которое более пяти лет добивалось признания государственными структурами и допуска в официальное публичное пространство. Как пишет М. Павлова, «в результате прямых переговоров КГБ, Союза писателей и „неофициалов“, обоюдно заинтересованных в организационном оформлении культурного движения, был образован Клуб-81». В дальнейшем творческая организация получила свободу в формировании программы своих литературных чтений, докладов, семинаров и дискуссий, а также в устройстве самого клуба, несмотря на противодействие органов власти. Одним из факторов успеха оказался сознательный выбор в пользу «творческой свободы» в сочетании с лозунгом «Долой политику!», характерным для независимого активизма в Ленинграде в целом. В 1985 году, когда будущий масштаб перестройки не был, вероятно, еще понятен и новому генеральному секретарю, Клуб-81 организовал эффективное точечное противодействие градостроительной политике в Ленинграде – сносу исторических зданий города – с помощью сбора подписей, писем в газеты и партийные органы, а также экскурсий-митингов и выставок-митингов. Этот успешный опыт самоорганизации, творчества и гражданского действия хорошо иллюстрирует сложность и неустойчивость стратегии удержания автономии в сочетании с отказом от «политического».

В кризисные периоды публичная речь в течение нескольких лет становилась свободной и на короткое время несколько раз приобретала политическую и символическую сверхзначимость (1917, 1989–1991), которая постепенно терялась после острой фазы кризиса. Статус и значимость снижаются как по «субъективной» воле акторов, консолидировавших власть и ограничивавших свободу коммуникаций в 1920-е годы, так и в силу «объективной» слабости социальных практик обсуждения в 1990-е годы. Публичная конфронтация мнений и позиций в каждой из этих форм не обеспечивает главного механизма, необходимого для кантовского соответствия «законов» и «мнений», – ненасильственной, содержательной интеграции намерений и жизненного опыта акторов в более приемлемые для участников решения и институты. Публичная коммуникация не всегда создает субстанцию власти достаточной социальной плотности и устойчивости для того, чтобы защитить себя и новый порядок: после фазы распада, следовавшей за максимальной свободой слова, господство воссоздается с помощью более жестоких или манипулятивных инструментов. В терминах Хабермаса системы колонизируют и вытесняют жизненный мир людей, основанный на обсуждении и согласии.

В этой связи мы хотели бы уточнить тезисы коллег, подготовивших сборник «„Синдром публичной немоты“», в основном посвященный современному состоянию публичной сферы в

---

<sup>85</sup> Хархордин О. Прошлое и будущее русского публичного языка // «Синдром публичной немоты». С. 189–223.

России, но также включающий три оригинальных исторических исследования. Предложенные в нашей книге кейсы, во-первых, подтверждают общий диагноз «синдрома публичной немоты» или «взаимной глухоты» в применении к недавнему прошлому. При этом, во-вторых, они открывают множество периодов и областей, в которых происходило и происходит медленное и нелинейное обучение навыкам публичной речи и слушания другого. Речь идет о газетах и рабкорах в промышленных городах сталинского СССР, о новой профессиональной журналистике, о низовых протестах и самоорганизации, о дебатах в формате видеоблогов или ток-шоу на центральном телевидении. Эта очень выборочная историческая ретроспектива указывает не только и, возможно, не столько на неспособность к публичной речи, дебатам или отсутствие делиберативных форм в России, сколько на *неустойчивость* властных институтов, основанных на делиберативных формах. Мы видим их регулярное возникновение, усложнение, даже расцвет и лишь затем – исчезновение.

В этом смысле полемические аргументы Дмитрия Калугина<sup>86</sup>, по-своему развивающего тезисы Виктора Живова, Бориса Успенского и Ренаты Лахманн<sup>87</sup> об «антириторическом» характере домодерной русской культуры, связанном в частности с определенной линией православной религиозной традиции, ставят фундаментальный вопрос о культурных ресурсах для современных институтов публичности в России. Безусловное присутствие антириторической линии в русской культуре мы считаем важным не воспринимать «буквально» как общий диагноз, предопределяющий будущее и исчерпывающе характеризующий прошлое. Антириторические тропы, интерпретируемые Калугиным, отражают укорененность нормативных установок против дебатов и полемики, но одновременно сами свидетельствуют сразу о двух вещах: а) о *распространенности* практик дискуссий, автономных от тех, кто их столь настойчиво и часто критикует, и б) о вполне риторическом желании авторитетного автора (не)добрым словом, скорее чем запретом и наказанием, *убедить* читателя. Однако в любом случае ситуация значительно меняется с конца XVIII века, что следует и из цитируемых выше работ коллег, и из материалов нашего сборника.

В отечественной истории с начала XIX века мы можем выделить четыре разных фазы или скорее *накладывающихся* друг на друга состояния официальной публичной сферы и отдельных субальтерных пространств публичности. Для нас важно, что почти в каждый период сосуществует несколько на первый взгляд взаимоисключающих логик публичности. Поэтому речь, безусловно, идет о грубой и предварительной схеме, целью которой является поставить вопрос о разнообразии и нелинейной эволюции режимов публичности в русской истории, отойдя от представлений о монолизме или репрессивности как основной исторической доминанте:

1) Режим «Бурные дискуссии». Соответствует фазам расширения поля обсуждений общественно важных вопросов и вовлечения в публичные дебаты новых групп и акторов (например, 1905–1917, 1985–1989 годы).

2) Режим «Пропаганда и ограничения». Фазы ограничения публичных дебатов, активизации централизованной пропаганды, введения элементов цензуры и репрессий против критиков существующих институтов (1830-е – 1855, 1930-е, 2010-е годы).

3) «Режим публичной немоты». Фазы снижения общественной значимости публичных дебатов, переход от полемики к монологам, глухота к чужой речи – при наличии анклавов свободы высказывания (например, 1975–1985, 2000-е годы).

---

<sup>86</sup> Калугин Д. «Много спрашася, не обретоша истинны», или Поэтика коммуникации власти и общества в России древней и новой // «Синдром публичной немоты». С. 28–49.

<sup>87</sup> Лахманн Р. Демонтаж красноречия: Риторическая традиция и понятие поэтического. СПб.: Академический проект, 2001; Живов В. М., Успенский Б. А. Царь и Бог (Семиотические аспекты сакрализации монарха в России) // Успенский Б. А. Избранные труды: В 3 т. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Школа «Языки Русской Культуры», 1996. С. 184–205.

4) «Режим закипания». Фазы, сочетающие вынужденную либерализацию «сверху», активные публичные дискуссии и массовое недовольство или даже террор «снизу» (например, 1860–1881, 1905–1917, 1989–1993 годы).

В заключительной части сборника представлено несколько актуальных сюжетов, посвященных эволюции режимов публичности последних десяти лет. Каждое из исследований показывает как серьезные ограничения публичной сферы, так и реально действующие эффекты и стратегии публичности: спонтанное появление новых мемориальных форм выражения коллективного низового протеста, формирование альтернативной профессиональной журналистики, которая оказывается востребована аудиторией и взаимно укрепляется во взаимодействии с низовыми общественными движениями, и, наконец, неохотное, но прогрессивное освоение жанра публичных дебатов в официальных массмедиа и в социальных сетях.

Убийство известного политика Бориса Немцова в центре Москвы на Большом Москворецком мосту спровоцировало сильную общественную реакцию и неожиданно привело к появлению стихийного мемориала на месте гибели благодаря усилиям тысяч людей (см. статью **Анны Соколовой**). Значительное административное противодействие с использованием коммунальных служб и идейных противников оказалось слабее сильной низовой волны, символически «захватившей» публичное пространство. Мемориал поддерживается добровольцами более шести лет, что беспрецедентно долго для мест памяти такого рода в мировом контексте. Множество живых цветов, свечи, лампы и фотографии соединяют скорбь и протест, становясь низовым коллективным действием и неустрашимым публичным высказыванием людей в ответ на насилие и травму.

Развитие в России новой профессиональной журналистики во второй половине 2010-х годов выглядит скорее как неожиданный феномен, который можно частично объяснить гибридным характером политического режима и используемых способов регуляции массовых коммуникаций. В противовес медиаполитике «оглушения», к которой, следуя традиции Франкфуртской школы, **Ольга Лазицки** относит многие ведущие государственные и частные массмедиа, возникает принципиально другой тип современной журналистики и аудитория, которая заинтересована в ней. Случаи низовой мобилизации на защиту локальных интересов жителей нескольких регионов России (формально их можно отнести к жанру *not in my backyard*, но они показывают принципиально новую устойчивость и резилентность локального коллективного протеста) за последние несколько лет продемонстрировали значимость новых профессиональных журналистов и новых медиа. Журналисты подробно и объективно освещают локальные протесты, которые намеренно искажаются или выпадают из поля зрения официальных СМИ, а широкая и заинтересованная аудитория профессиональной журналистики оказывается достаточно сильной, чтобы защищать журналистов в критических случаях.

Статья **Татьяны Вайзер** проливает свет на другой значимый сегмент современных общественно-политических медиакоммуникаций: политические ток-шоу на центральном российском телевидении, организованные как дебаты. Этот фундаментально противоречивый феномен требует особого внимания: с чем связано поддержание целой сетки полемических программ, где центральным жанром являются дискуссии, отсутствующие в обычной общественной жизни? Мы можем вспомнить, что религиозный катехизис был устроен как набор жизненных вопросов паствы и доктринально выверенных ответов, но при этом позднесоветская пропаганда не использовала дебаты как технологию убеждения. Вывод о преднамеренной имитации или даже дискредитации жанра в России 2010-х годов, возможно, отчасти дает ответ о намерениях политических менеджеров и телепродюсеров. Впрочем, необходимо объяснить саму потребность в имитации предположительно *отсутствующего* в массовых практиках жанра. PR-технология, как правило, использует ожидания и язык, понятный аудитории. Так, в нарочито агонистических ток-шоу крик не слышащих друг друга гостей и лишение права голоса тех, кто олицетворяет оппозицию, могут служить как задачам инфотейнмента, так и

«усмирению» потенциальных сомнений и вопросов зрителей, утверждая их в «правильной» точке зрения, навязчиво подсказываемой ведущим.

Как мы отмечали вслед за рядом отечественных исследователей, равнодушие одних граждан и представителей власти к публичной критике со стороны других граждан свидетельствует о достаточно характерном для современной России режиме публичности. До недавнего времени реакция на расследования и скандальные по сути обвинения в коррупции, которые сопровождают новейшую российскую историю с 1991 года, была минимальной, и в случае, когда реакция происходила, она оказывалась отложенной. Скажем, увольнение происходило не вслед за публикацией компрометирующих материалов расследований, а через несколько лет. В 2017 году один из богатейших россиян, Алишер Усманов, принял труднообъяснимое и, вероятно, самостоятельное решение ответить на обвинения Алексея Навального, которые затрагивали премьер-министра Дмитрия Медведева и его самого (см. заключительную статью **Майкла Горэма**). Необычным является как сам публичный ответ, так и его форма. Усманов разместил раздраженный и местами грубый полемический ролик в сети YouTube, где публикует свои популярные фильмы и оппозиционный политик.

При всех оговорках первые публичные дебаты или даже дуэль оппозиционного политика, находящегося под административно-уголовным давлением, и представителя высшей бизнес-элиты страны, возможно, открывают новую эпоху. На отдельные публичные обвинения, оказывается, «нельзя не отвечать» и их нельзя «не услышать»: соцсети и видеоплатформы постепенно становятся влиятельными медиа и устойчивой формой общественной коммуникации для новых поколений россиян, впрочем, пока почти не имеющей влияния на решения государственных институтов<sup>88</sup>. Анонсированные и в итоге несостоявшиеся видеодebаты представительницы МИД Марии Захаровой, в свое время поддержавшей жест Усманова, и Алексея Навального, а также состоявшаяся дискуссия Ксении Собчак и Любви Соболь свидетельствуют о востребованности этого жанра в 2020-х годах.

В силу естественного искажения взгляда из настоящего и недавнего прошлого может показаться, что в России частные публичные высказывания и полемика обычно не слышны или столь слабы, что публика не обращает на них большого внимания. Но перспектива двухсот лет, когда можно говорить о современных формах публичности, задает более сложную и интересную историческую траекторию, которую мы можем исследовать. Режимы публичности, предполагающие растущую автономию публичной речи и дебаты, занимают в хронологии нашей страны приблизительно столько же лет, сколько режимы публичности нисходящей фазы, когда дебаты сменяются равнодушием, или этапы, когда растет количество ограничений и репрессий, а публичный дискурс централизуется и монополизируется.

\* \* \*

В заключение мы предлагаем четче различить два типа режимов публичности, отражающих и разные фазы зрелости, и различную «нагрузку» на практики обсуждения: а) институты, где принятие решений прямо основано на гласных дебатах, и б) институты и коммуникативные среды, где проявляются социально значимые эффекты публичности (включая «общественное мнение»), но с ограниченным или слабым влиянием на решения. В настоящей книге мы уделяем основное внимание второму типу, тогда как сборник «„Синдром публичной немоты“» в целом больше рассматривал кейсы первой категории, невольно смешивая два в одном. Мы

---

<sup>88</sup> При этом оценки влияния интернет-среды на культуру и практику публичных дебатов можно соотнести с хорошо и достаточно рано (в 2006 году) артикулированной Хабермасом критикой воздействия на публичность социальных сетей. В этом смысле стоит также отметить особенно яростный и беспепелляционный характер большинства комментариев именно к роликам на платформе YouTube. См.: *Habermas J. Ein avantgardischer Spürsinn für Relevanzen. Was den Intellektuellen auszeichnet.*

бы хотели четче разделить эти две сущности. Нам кажется, что в России накоплен достаточно успешный и разнообразный опыт слабых публик, но переход к сильной публике остается еще не освоенным навыком высшего пилотажа как на уровне локальных практик, так и в национальном масштабе.

Различение двух типов публичности, позволяющее увидеть более сложную картину, содержательно следует за Фрейзер, разделявшей сильную и слабую публики. Сильная публика – это публика, имеющая не только право обсуждать, но и юридические и политические полномочия принимать решения, тогда как слабая публичная сфера всего лишь оказывает влияние на тех, кто реально принимает решения. Слабая же публика может только рассуждать и имеет лишь косвенное влияние на официальные резолюции. В случае отсутствия политических институтов, чувствительных к общественному мнению, или наличия групп, исключенных из общественной дискуссии, слабая публика легко теряет свое влияние. Для не представленных в официальной публичной сфере США социальных групп Фрейзер требовала не только права высказаться и вступить в полемику, но и возможности влияния на принятие решений.

Это различие может быть полезным для лучшего понимания циклической эволюции режимов публичности в России. Но для нас важно и то, что слабая публика, когда она возникает, уже создает определенную коммуникативную власть, пусть и слабую. Мы здесь видим скорее историческую эволюцию форм от слабых публик к сильным, в которой российский контекст лучше описывают именно возникающие слабые публики. Противоположностью тут будет собственно полное отсутствие способности к обсуждению или «молчание». В отличие от Фрейзер, намерением которой было содействовать превращению части слабых публик (прежде всего меньшинств) в сильные, наша историографическая задача заключается в том, чтобы найти адекватные способы описания и понимания разнообразия слабых имперских и советских публик и соответствующих режимов публичности как в политической сфере, так и в области культуры и художественного творчества.

Здесь мы можем говорить о большом разнообразии и почти постоянном воспроизводстве механизмов слабой публичной сферы в отдельных защищенных нишах и периодически в официальном публичном пространстве. Но три попытки – вынужденные или намеренные – создать действующие институты сильной публики в 1905–1912 и 1989–1993 годах, когда дебаты и публичное мнение были призваны буквально стать медиумом власти, окончились неудачей. Мы знаем, что в постреволюционной Англии, Франции и объединенной Германии формирование устойчивых парламентских институтов заняло в каждом случае существенно более 150–200 лет для перехода от первых сильных публик в устойчивый режим функционирования, что дает основания для осторожных и не слишком оптимистических прогнозов, если отсчитывать первую попытку от царской Думы 1905 года.

Обращаясь к прошлому, мы можем поставить новый исследовательский вопрос о критической фазе перехода от слабой к сильной публичной сфере. В каких обстоятельствах такой переход происходил и в какой мере последующая трансформация парламентских институтов может быть проанализирована с точки зрения сложившихся навыков ведения дебатов и существующей социальной инфраструктуры публичной сферы? В качестве черновой гипотезы для будущих исследований мы можем предварительно описать логику взлетов и падений режимов публичности в России с помощью парафраза циклов смены плохих и хороших политических режимов у Аристотеля и Полибия, унаследованных европейской традицией при посредничестве Макиавелли<sup>89</sup>. Для проверки этой гипотезы самым насущным представляется более внимательное изучение периодов активных публичных дебатов, особенно когда можно говорить об институтах сильной публичности (например, периоды созыва первых Дум и перестройки), которые не попали в основной фокус настоящего сборника. У циклов есть две исходные точки

---

<sup>89</sup> О генезисе этих представлений см. в частности: *Покок Дж. Г. А. Момент Макиавелли*. С. 128–132, 138, 144 и далее.

или причины роста влияния публичных коммуникаций и различных форм публичной полемики:

а) долгосрочные социальные (урбанизация, растущий уровень образования) или технологические изменения в формах медиа (журналы, стенография, магнитофоны, ксерокопирование, социальные сети и др.) подспудно усиливают значение публичной речи;

б) верховная власть намеренно использует расширение гласности для обоснования и обсуждения масштабных реформ и легитимации режима.

Начнем с первого случая. Когда политический вес публичных высказываний независимых акторов начинает расти, а публичные дебаты оживляются, держатели центральной политической власти часто прибегают к систематической или выборочной цензуре и разнообразным репрессиям – от давления на редакторов и штрафов до закрытия изданий и арестов. Эти целенаправленные репрессивные действия против рождающейся или усиливающейся коммуникативной власти (либо более слабых эффектов публичности) останавливают, блокируют формирование делиберативных практик. Лишая общественные структуры механизмов мягкой обратной связи и интеграции жизненного мира в политические и экономические системы, такие режимы ограниченной публичности формируют будущую волну террора и насилия снизу и одновременно создают стратегическую потребность в мобилизации ресурсов публичности для нового поколения лидеров, когда неадекватность решений и коммуникации приведет к масштабному кризису или застою.

Вторая исходная точка цикла – намеренная трансформация режима публичности держателями верховной власти – часто является конечной точкой первого цикла. С гласностью, уложенными комиссиями, дебатами, советами и парламентскими формами активно экспериментировали как верховные правители и государственные служащие, реализовавшие их политику, так и акторы среднего уровня, деятели культуры или амбициозные оппозиционные (в том числе подпольные) политики. В фазе максимального усиления институтов свободных обсуждений и их интеграции с политическими механизмами публичная речь внезапно становится громогласной и кажется почти всемогущей, тогда как качество обсуждения реальных вызовов и возможностей в момент головокружения от публичности может снижаться. Властные институты под палящим огнем критики однажды теряют способность отвечать на нее и достаточно быстро утрачивают и политический авторитет. Благоклонное или хотя бы нейтральное общественное мнение служит легитимации режима. Но явная потеря легитимности, которая происходит в острой фазе бурных дебатов и критики, в течение двух-трех лет оборачивается эскалацией насилия сверху (репрессии, государственный террор) или снизу (терроризм, восстание, сецессия, рэкет и уличное насилие).

Формирование локальных и нишевых режимов публичности, основанных на успешной институционализации критики, дискуссий или других форм свободной рефлексии и интеграции жизненного мира (городские газеты, клубы, цирк, общественные союзы, художественные выставки), как правило, прекращается или замедляется под внешним воздействием больших циклов трансформации господствующего режима публичности в стране. Тогда как в официальной политической сфере гласность и дебаты регулярно становятся инструментом смены и реформы существующих институтов в России, но не основой новых работающих институтов. Гласность помогает сменить политический курс и обновить институты, но не помогает поддерживать их после смены. Мы рискуем предположить, что здесь как раз сказывается практическая слабость навыков публичных дебатов.

В силу пестроты исторической ткани и отсутствия готового аналитического аппарата авторы нашего сборника отказались от попыток наложения на историю режимов публичности готовой общей схемы развития в пользу углубленного рассмотрения отдельных кейсов. Полученная мозаичная картина противоречит не только механическим «прогрессистским» ожиданиям, но и представлению о перманентной и культурно (экономически, социально или как-то

еще) обусловленной репрессивности российской истории. Отечественная история поражает не столько безнадежным однообразием монологической власти, сколько пестрой вереницей режимов, где чередуются самые разные формы свободной полемики, творческой свободы, автономии и экспериментов, пропаганды, жесткого контроля, унижения или изуверской жестокости и насилия в отношении как оппозиции, так и власти.

В свое время О. Хархордин сделал сильное утверждение о неспособности современных россиян создавать «интересные» для самих себя публичные институты и переходить от «дружеского общения» к публичному действию, дополнив его указанием на возможную положительную динамику этой (не)способности<sup>90</sup>. Коллективный анализ синдрома публичной немоты углубил эту исследовательскую и нормативную перспективу, которая, взятая сама по себе, рискует завести нас в тупик. Мы предлагаем сделать следующие два шага, расширяя общее пространство интеллектуального маневра. Первый шаг заключается в том, чтобы рассмотреть практики слабых публик и многообразие режимов публичности, что по-своему постарались сделать авторы настоящего сборника, приняв их несовершенство и при этом видя в них ценность. На втором шаге мы можем спросить, опираясь на исторические и современные исследования публичности: если к публичному дебату не было и нет способности, почему в последние несколько столетий руководители страны от Екатерины Великой до Михаила Горбачева готовы на свой риск и страх воссоздавать публичные институты? Если не получается обсуждать и о чем-либо договориться, почему каждые двадцать-тридцать лет делается новая ставка на гласность и дебаты? Очевидно, помимо факторов, сдерживающих институционализацию механизмов публичного обсуждения и гражданского участия, мы можем обратить внимание и на структурные, долгосрочные факторы (мы уверены, что хорошо известный механизм карго-культы может объяснить лишь часть этой реальности), которые так настойчиво стимулируют отечественных политических лидеров и наше общество забыть о неудачах и снова сделать оптимистическую ставку на большую публичность политики и управления. Мы убеждены, что научная рефлексия неудач и успехов, образцами которой служат предшествующие коллективные работы коллег, – это оптимальный формат, в котором социогуманитарное знание может внести свой вклад в общее дело.

Таким образом, в исторической перспективе двухсот лет речь идет не столько об отсутствии или слабости, но скорее о *многообразии, востребованности и неустойчивости* институтов публичного обсуждения в России наряду с регулярными репрессиями и цензурой верховной власти, опасющейся конкуренции в символическом поле и способной подавить ее. При этом мы можем говорить о настойчивости в воссоздании этих форм как в масштабе официальной политической публичной сферы, так и в различных нишевых и локальных форматах. Циклическая смена нескольких узнаваемых фаз режимов публичности, возможно, приводит к долгосрочному и целенаправленному, хотя и очень неравномерному *освоению* различных форм публичных дебатов и делиберативных институтов.

Выходя за дисциплинарную ограду историографии, мы постарались сформулировать три разных (но не взаимоисключающих) вывода о возможной нормативной интерпретации опыта публичности в России в Новое и Новейшее время, которые можно с разной степенью убедительности сделать в зависимости от исходной идеологической позиции:

а) важно изучать, создавать условия, практиковать и культивировать более продуктивные и устойчивые формы рациональных публичных дебатов и связанных с ними институтов – по причине их относительной слабости (рефлексия фазы «публичной немоты»);

---

<sup>90</sup> Хархордин О. От засилья общественности к силе публичного действия // От общественного к публичному / под ред. О. Хархордина. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. С. 487–529.

б) следует с критическим вниманием относиться к расширению сферы публичных дебатов и критики из-за риска распада социальных и политических институтов (критическая рефлексия фазы «бурных дебатов» в 1917 или 1991 году)<sup>91</sup>;

в) необходимо противодействовать репрессиям, ослабляющим институционализацию публичных дебатов (рефлексия фазы «репрессий»), и желательно широко внедрять делиберативные институты (нерефлексивное восприятие фазы «бурных дебатов»).

Мы призываем читателей внимательно прислушаться к каждой позиции. Общественно значимый исторический и современный опыт, требующий усвоения, находится не в одном из трех и не строго «между» тремя тезисами. Мы видим ценность и важное сообщение *одновременно* в каждом из трех положений. Плодотворное обсуждение различных позиций предполагает не усреднение исходных точек зрения, а нахождение нового языка и, в идеале, формирование нового сбалансированного взгляда на ситуацию. Мы хотим, чтобы настоящий сборник стал импульсом к интеграции различных перспектив и катализатором дальнейшего обсуждения политической теории и истории публичности в России в сравнительной перспективе.

---

<sup>91</sup> Здесь важно всерьез отнестись к беспокойству по поводу того, что предыдущие несколько попыток использовать делиберативные институты для выработки политических решений в рамках парламентских форм окончились неудачей (в целом неудачные попытки Екатерины II организовать местное самоуправление и Уложенную комиссию, роспуски первых Дум в Российской империи, разгон Учредительного собрания, распад СССР после создания Съезда народных депутатов, противостояние Верховного Совета и президентской ветви власти в 1991–1993 годах и т. д.). Парламентские формы достаточно быстро приводили к сильному напряжению и даже противостоянию с другими ветвями власти и в конечном счете к воссозданию неделиберативных механизмов принятия решений. Как следствие происходило и сворачивание механизмов общественной дискуссии, способной влиять – в том числе (хотя и не исключительно) в силу практической невозможности согласовывать слишком разные интересы и представления. Вопреки своей репутации «философа консенсуса», Хабермас собственно и писал о негарантированности благополучного исхода интеграции конкурирующих позиций через делиберацию (см. сноску выше). К этой неопределенности ранний Хабермас добавляет одно пессимистическое указание на неблагоприятные социальные условия позднего капитализма и одно ободряющее указание на встроенное в европейскую политико-правовую традицию ожидание участия и согласия по принимаемым официально решениям, без удовлетворения которого порядок будет в конечном счете нелегитимным. Зрелый Хабермас в этой связи демонстрирует, что тонкая, но вполне осязаемая субстанция коммуникативной власти укоренена в антропологической природе человеческого языка и общения. Эта горизонтальная власть естественно возникает в ходе свободного общения между людьми. Значение такой делиберативной власти в конкретном политическом устройстве, как правило, обусловлено и ограничено не только культурой обсуждения ключевых участников, но и другими силами и институтами. Слишком быстрое расширение участия в дискуссиях по реальным решениям, вовлекающее в него людей без достаточного опыта слабой публичности или по вопросам, которые затрагивают жизненно важные интересы более сильных акторов, де-факто разрушает общественное доверие к дискуссии как практически полезному механизму. А это позволяет сильным акторам более успешно ограничивать и без того слабые институты публичности, мешающие консолидации устойчивого порядка. Ключевой вопрос в этой связи – внимание к вектору движения в сторону постепенного расширения и культивации соответствующих навыков, представлений и практик дебатов. Простая констатация несовершенства текущей ситуации и одновременная ставка на максимально широкое использование столь тонкого механизма взаимодействия, безотносительно к его социальным условиям, на деле невольно возвращают нас в исходную точку цикла. В результате в обществе накапливается скепсис и отторжение публичности. Историки могут навести увеличительное стекло на локальную динамику и богатый опыт слабых публик последних двухсот лет. Решение же о том, как лучше культивировать навыки публичной дискуссии, и решение о степени готовности к конкретным институтам сильной публики здесь и сейчас остаются делом чисто политического суждения.

## ***Общественное мнение и публичность в царской России***

***Михаил Велижев***

**Политик поневоле?**

### **Историограф, монарх и публичная сфера в России начала XIX века**

Записка Н. М. Карамзина «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» заслужила репутацию одного из классических текстов русской политической философии, в котором разрабатывалась идеологическая повестка имперского консерватизма. Особенность текста заключается в двойной цели – прагматической и историко-философской. Карамзин оспаривал основные направления внутренней и внешней политики Александра I и его сотрудников, прежде всего М. М. Сперанского<sup>92</sup>, причем основным легитимирующим критику инструментом выступала история. Карамзин опирался на собственные исследования, на выявленные им общие закономерности исторического развития России, на представления о провиденциальной природе самодержавной власти и ее структурообразующей функции в механизме государственного управления. С одной стороны, Карамзин интерпретировал конкретные исторические и политические сюжеты, с другой – задавал аналитическую макропарадигму, позволявшую оценить каждое отдельное царствование на предмет соответствия критериям национальной идентичности России («народного духа»), прежде всего воплощенной в истории. Именно это обстоятельство и предопределило популярность концепции Карамзина, изложенной затем и в «Истории государства Российского», у последующих идеологов (например, С. С. Уварова<sup>93</sup>). Впрочем, несмотря на высокий статус трактата «О древней и новой России» в русском политико-философском каноне, его история и прагматика до сих пор остаются не до конца проясненными и служат предметом активной научной дискуссии.

Рассуждая о трактате, следует безусловно принимать во внимание его сложную эдиционную судьбу: в сущности, мы ничего не знаем о том тексте, который был передан в 1811 году Александру I. Считается, что императорская копия утеряна, однако Карамзин прежде успел переписать документ (собственной ли рукой, как утверждал в одном из писем 1845 года к М. П. Погодину Н. Д. Иванчин-Писарев<sup>94</sup>, или все же усилиями второй супруги – неясно), рукописная версия трактата сохранилась и в Твери у великой княгини Екатерины Павловны. В 1830-е годы записка достигла Петербурга и стала затем активно расходиться в копиях<sup>95</sup>. Однако вопрос о том, когда именно создавались версии, к которым восходят современные публикации<sup>96</sup>, как они соотносились с оригинальным текстом, остается открытым<sup>97</sup>.

---

<sup>92</sup> Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 223–225.

<sup>93</sup> См.: Киселева Л. Н. Карамзинисты – творцы официальной идеологии (заметки о российском гимне) // Тыняновский сборник. Вып. 10. Шестые – Седьмые – Восьмые тыняновские чтения. М.: Издательский дом «Агиймаа» (Улан-Батор, Монголия), 1998. С. 24–39.

<sup>94</sup> «В 12-м № Москвитянина 1844-го года, Вы поместили на стр. 532-й и 533-й статью о журнале Современник, и упомянули, что в 1837-м году в нем была напечатана статья Карамзина „О древней и новой России“. Я читал ее гораздо прежде 1837-го года, и в рукописи собственноручной Карамзина» (ОР РГБ. Ф. 231/II. К. 13. Ед. хр. 73. Л. 1; подчеркивание автора. – М. В.).

<sup>95</sup> Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М.: Археографический центр, 1997. С. 183–188.

<sup>96</sup> См.: Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: Наука, 1991; «Слезы катятся при мысли о бедствиях России». Малоизвестный трактат Н. М. Карамзина о вреде торопливых реформ // Источник. 1997. № 6. С. 4–26; 1998. № 1. С. 3–30.

Записка «О древней и новой России» была создана Карамзиным за относительно короткий срок на рубеже 1810 и 1811 годов и первоначально адресовалась узкому придворному кругу великой княгини Екатерины Павловны, куда входил и великий князь Константин Павлович<sup>98</sup>. Карамзин часто бывал при тверском дворе, читал там свою историю и обсуждал ее с Екатериной Павловной и ее мужем герцогом Ольденбургским. Именно Екатерина и заказала историографу записку. В марте 1811 года в Тверь должен был приехать император Александр I, имевший намерение обсудить с сестрой целый спектр политических вопросов<sup>99</sup>. В Твери Александр познакомился с Карамзиным, а вечером накануне отъезда в Петербург слушал отрывки из его «Истории». Вслед за этим Екатерина передала брату карамзинскую записку, содержащую резкую критику внутренней и внешней политики царя. Разделял ли Карамзин желание Екатерины Павловны познакомить императора с текстом трактата? Сам историограф после событий 1811 года нигде произошедшее не комментировал и о записке почти никому не рассказывал. Между тем с точки зрения языковой стратегии Карамзина-политика вопрос о его намерениях представляется ключевым.

## КТО БЫЛ АДРЕСАТОМ ЗАПИСКИ «О ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ РОССИИ»?

Существуют две полярные реконструкции авторских намерений Карамзина. Версия, согласно которой Карамзин создавал записку «О древней и новой России» с расчетом на непосредственное знакомство с текстом Александра I, была обоснована Ю. М. Лотманом<sup>100</sup> и Н. Я. Эйдельманом<sup>101</sup>. Лотман писал:

То, что главной мишенью Карамзина был не Сперанский, а Александр I, видно из той настойчивости, с которой историк касался самых больных мест репутации императора. <...> Самым безжалостным из нарисованных Карамзиным был образ Александра I. Под пером писателя вставал портрет «любезного монарха»... и одновременно человека, лишённого государственных способностей, преследуемого во всех начинаниях неудачами. Ни одно из любимых предприятий царя не было одобрено историком<sup>102</sup>.

Лотман предложил два объяснения потенциально столь опасного для Карамзина поступка. Во-первых, своим выступлением историограф исполнял нравственный долг перед Россией: «...говорить, что собственное достоинство – долг перед Россией и человечеством, можно было потому, что оно выступало в системе Карамзина... основным противовесом власти бюрократии»<sup>103</sup>. Во-вторых, Карамзин действовал как историк: согласно его концепции, «историк – тот, кто заставляет современников при жизни выслушать, что скажет о них потом-

<sup>97</sup> Полонский Д. Г. Материалы о Н. М. Карамзине в фондах Архива Российской академии наук // Н. М. Карамзин в русской книжной культуре. Материалы международной научной конференции (1–2 декабря 2016 года). М.: Пашков дом, 2016. С. 95.

<sup>98</sup> См.: *Сегень А. Ю.* История создания и публикации трактата «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» // Русская социально-политическая мысль XIX – начала XX века. Н. М. Карамзин. М.: Изд. Воробьев А. В., 2001. С. 221–226 (впервые в: Литературная учеба. 1988. № 4. С. 132–135).

<sup>99</sup> См. письмо императора к Екатерине Павловне от 26 декабря 1810 года: *Великий князь Николай Михайлович.* Переписка императора Александра I с сестрой великой княгиней Екатериной Павловной. СПб.: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1910. С. 35–36.

<sup>100</sup> *Лотман Ю. М.* «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» Карамзина – памятник русской публицистики начала XIX века // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. II. Таллинн: Александра, 1992. С. 194–205; впервые в 1988 году.

<sup>101</sup> *Эйдельман Н. Я.* Последний летописец. М.: Книга, 1983. С. 70.

<sup>102</sup> *Лотман Ю. М.* «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» Карамзина. С. 201–202.

<sup>103</sup> Там же. С. 203.

ство»<sup>104</sup>. По мнению Лотмана, речь не идет об отчаянном поступке человека, лишенного всякой надежды быть услышанным. Напротив, Карамзиным руководил определенный расчет: он старался «завоевать доверие» «мнительного» императора выражением своей «полной личной независимости» – «прямоту мнений» Карамзин никогда не сопровождал никакими личными просьбами и, таким образом, снискал «уважение» Александра и «право никогда не кривить душой»<sup>105</sup>. Структурно жест Карамзина выглядел как республиканский (рискованный и во многом самоотверженный критика политических действий монарха, обращенная к самому царю), но содержательно фиксировал позицию «большого роялиста, чем сам король», упрекавшего самодержца в излишней склонности к реформаторству<sup>106</sup>.

Вторая точка зрения, согласно которой главными адресатами трактата историограф считал прежде всего великую княгиню Екатерину Павловну и герцога Ольденбургского, сформулирована А. Л. Зориным. Карамзин вопреки своей воле оказался вовлечен императорской сестрой в политическую интригу против Сперанского и не предполагал, что записка будет вручена Александру:

«Записка о древней и новой России» была не столько актом героическим и жертвенным жестом взволнованного гражданина, сколько частью, в сущности, не очень чистой политической интриги, направленной на устранение Сперанского и инспирированной тверским двором великой княгини Екатерины Павловны. Карамзин оказался участником этой игры, скорее всего, невольным. До решающего эпизода он с большой симпатией и нежностью отзывался о Екатерине Павловне и тверском дворе и утверждает, что общение с великокняжеской семьей – это главное утешение его жизни. После того, как рукопись «Записки...» попала в руки Александра I, он с большим раздражением пишет тому же корреспонденту (брату В. М. Карамзину. – М. В.), что ездить в Тверь больше не хочет. Видимо, он понял, что его использовали против его воли<sup>107</sup>.

По-видимому, исчерпав все возможности убедить монарха в пагубности нововведений, инспирированных Сперанским, Екатерина Павловна прибегла к последнему средству – передала императору записку, для него не предназначенную, которая свидетельствовала о крайнем недовольстве реформами в среде московского дворянства<sup>108</sup>.

Столь явное расхождение в интерпретации карамзинских интенций возникло не в конце XX века. В основных чертах оно восходит к сочинениям, опубликованным в середине XIX столетия: точку зрения о расчете историографа на непосредственное знакомство Александра с текстом активно защищал в своих «Материалах для биографии» Карамзина Погодин<sup>109</sup>, о преимущественно «тверском» генезисе записки – в частности, в связи с интригой вокруг Сперанского – писали М. Н. Лонгинов<sup>110</sup> и М. А. Корф<sup>111</sup>. Обе линии анализа базировались на показа-

<sup>104</sup> Там же. С. 204.

<sup>105</sup> Лотман Ю. М. «О древней и новой России». С. 204.

<sup>106</sup> См. об этом: Там же. С. 196–197.

<sup>107</sup> Зорин А. Л. «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина в общественном сознании 1960–1990-х годов // Империя и либералы: Сборник эссе. СПб.: Журнал «Звезда», 2001. С. 126.

<sup>108</sup> Raeff M. Michael Speransky. Statesman of Imperial Russia. 1772–1839. The Hague: Martinus Nijhoff, 1957. P. 175.

<sup>109</sup> См.: Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников: Материалы для биографии, с примечаниями и объяснениями М. Погодина: В 2 ч. М.: Типография А. И. Мамонтова, 1866. Ч. II. Точка зрения Погодина нашла сторонников и в начале XX века, см., например: Валк С. Н. Рец. на: Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России / ред. проф. В. В. Сиповский // Голос минувшего. 1915. № 10. С. 308.

<sup>110</sup> Лонгинов М. Николай Михайлович Карамзин. М.: б/и, 1866. С. 8–9 (оттиск из третьего номера «Московских университетских известий» за 1866 год).

<sup>111</sup> Корф М. А. Жизнь графа Сперанского: В 2 т. СПб.: Издание Императорской Публичной библиотеки, 1861. Т. 1. Ч.

ниях собеседников самого Карамзина: все три версии, по-видимому, так или иначе восходили к свидетельствам Д. Н. Блудова<sup>112</sup>. Погодин, кроме того, ссылался на данные, полученные от К. С. Сербиновича, секретаря Карамзина в 1820-е годы, оставившего подробные воспоминания о последних годах жизни историографа<sup>113</sup>. Версия событий, изложенная Погодиным, отличалась радикальностью итоговых заключений. Если Лонгинов и Корф упоминали о том, что записка писалась для Екатерины Павловны и затем была передана ею царю (без детальной интерпретации карамзинских намерений), то Погодин высказался куда более определенно:

Карамзин хотел, разумеется, чтоб Записка его сделалась известною Государю. Для молодой женщины (великой княгини Екатерины Павловны. – М. В.) не стал бы он тратить свое драгоценное время, да и что могла бы сделать с нею Великая Княгиня<sup>114</sup>.

Важным доказательством подлинности погодинской реконструкции служила пунктуально проанализированная биографом хронология мартовского визита императора в Тверь. Напомним, что записка «О древней и новой России» оказалась в руках Александра непосредственно перед его отъездом в Петербург в ночь с 18 на 19 марта 1811 года, после того как Карамзин читал царю фрагменты «Истории» и дискутировал с ним о природе самодержавия. Согласно Погодину, уже после отъезда императора в Петербург и «холодного» прощания с разгневанным запиской монархом историограф просил Екатерину Павловну вернуть ему записку, однако выяснил, что та находится у Александра:

Оставляя Тверь, Карамзин спросил свою Записку у Великой Княгини. Записка ваша теперь в хороших руках, отвечала она, – и едва ли этим ответом успокоила Историографа, смущенного внезапною переменою в обращении Государевом<sup>115</sup>.

Особенность выстроенного таким образом хронологического ряда становится понятна из сопоставления текста «Материалов для биографии» со свидетельством Сербиновича, легшим в основу погодинского рассказа о тверских событиях и, в свою очередь, основанным на разговорах с самим Карамзиным в середине 1820-х годов. В архиве Погодина сохранились воспоминания, которые Сербинович присылал ему в период работы над «Материалами» (1864–1865 годы). Сличение рукописи с печатным текстом показывает, что Погодин местами подверг очерки Сербиновича существенной переработке. Вот как описывал значимый для нас эпизод Сербинович:

---

1. С. 133.

<sup>112</sup> В 1852 году Блудов писал П. М. Волконскому: «...читая сию записку его (Карамзина. – М. В.), надобно не терять из вида, что она есть почти конфиденциальная, составлена для одной близкой к Государю Особы, и что автор никогда никому другому ее не показывал» (Отношение графа Д. Н. Блудова к министру императорского двора князю П. М. Волконскому // Утро. Литературный и политический сборник, издаваемый М. Погодиным. М.: Типография Л. И. Степановой, 1866. С. 194).

<sup>113</sup> К. С. Сербинович о Н. М. Карамзине // Российский архив. Том IX. М.: Российский фонд культуры; Студия «Тритэ» Никиты Михалкова; «Российский архив», 1999. С. 193–213. О работе Погодина над «Материалами к биографии» Карамзина и особенности его авторской позиции см., например: *Умбрашко К. Б.* М. П. Погодин: путь к биографии Н. М. Карамзина // Археографический ежегодник за 1996 год. М.: Наука, 1998. С. 196–210.

<sup>114</sup> Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Ч. II. С. 69. Погодин, по-видимому, не догадывался о той роли, которую Екатерина Павловна играла в политических интригах предвоенного времени.

<sup>115</sup> Там же. С. 82. Версии о «прохладном прощании» Александра I с Карамзиным суммированы Погодиным (Там же. С. 80–81). Историк предположил, что ошибочный расчет Екатерины Павловны строился на логике «двойного» хода: сначала личное знакомство императора с Карамзиным, которое способствовало бы установлению доверительных отношений, затем передача монарху текста записки (Там же. С. 81). Заметим, что предположение Погодина отличается известной произвольностью – Екатерина Павловна хорошо знала брата и, как кажется, была способна просчитать последствия столь очевидной «дерзости», как письменное поучение монарха почти незнакомым ему лично историографом. Впрочем, аргументы Погодина воспроизводятся и в относительно недавних работах, см., например: *Гросул В. Я.* Зарождение российского политического консерватизма // Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 42.

Ник. Мих., уходя из комнаты великой княгини, просил ее отдать ему рукопись, полагая, что она более не нужна. Но великая княгиня отвечала, что сделать этого не может потому, что ее у нее нет; но прибавила: она «теперь в хороших руках». На другой день Карамзин с великим удивлением заметил, что Государь совершенно был холоден к нему и, прощаясь со всеми, взглянул на него издали равнодушно<sup>116</sup>.

Таким образом, по словам Сербиновича, Карамзин просил возвратить ему текст в тот момент, когда его разговор с монархом был окончен, равно как и подошло к концу пребывание Александра в Твери. Однако Погодин в своем труде перенес время разговора на более поздний срок: словосочетание «оставляя Тверь» означает, что вопрос о судьбе записки Карамзин задал уже после того, как император уехал в столицу, а не прежде этого момента, как указывал Сербинович. За счет временного смещения Погодин достигал важной для него цели – убедить читателя, будто Карамзин предполагал, что его записка может быть прочтена царем в одиночестве вслед за спорами в салоне Екатерины Павловны. Интерпретация Сербиновича полностью исключала эту версию.

Надо заметить, впрочем, что и сам Погодин испытывал некоторые сомнения в правдоподобности собственного истолкования событий. Об этом свидетельствуют документы, отложившиеся в архиве историка и созданные в период работы над биографией Карамзина. Среди черновиков второй части текста сохранился отдельный лист с записью о том, как трактат «О древней и новой России» достиг Петербурга. Погодин сравнивал две возможности: а) К. И. Арсеньев нашел рукопись трактата, разбирая бумаги умершего в 1834 году А. А. Аракчеева, и б) записка оказалась в столице благодаря бывшему кабинет-секретарю герцога Ольденбургского И. М. Борну, вернувшемуся в Россию в начале 1830-х годов и привезшему с собой рукопись. Первую версию Погодин по ряду причин решительно отводил, а затем замечал:

Теперь остается вопрос: подлинная ли Записка была в руках Г. Борна, или только снятая им копия. В первом случае все наши предположения разлетаются в прах: записка не была отдаваема в руки Государя, Государь не читал ее, не имел случая рассердиться на Карамзина, Аракчеев не читал ее, – и ларчик открывается просто, прозаически: Великая княгиня побоялась представить записку государю, и оставила ее в своих бумагах, под красным сукном, откуда она досталась в руки, как курьез, к ее секретарю, который показал ее под тайною своему товарищу. Грустное впечатление произведет такая история гениального, сердечного, благородного труда. А как было разыгралось наше воображение. Вот как сочиняется история<sup>117</sup>.

## КАРАМЗИН КАК ИСТОРИОГРАФ: ДОЛЖНОСТЬ И ПАТРОНАЖ

Если переформулировать основные доводы оппонентов в контексте различных логик политического и социального действия, то получится, что в лотмановской версии Карамзин (в частности, как историограф) сознательно нарушил правила придворного этикета, обнаружив гражданскую независимость и решимость обратиться к царю, с которым он к тому моменту был едва знаком<sup>118</sup>, а с точки зрения Зорина, он, напротив, предпочитал действовать в рамках

---

<sup>116</sup> Сербинович К. С. Замечания о Карамзине // ОР РГБ. Ф. 231/III. К. 22. Ед. хр. 20. Л. 4–4 об.

<sup>117</sup> ОР РГБ. Ф. 231/I. К. 17. Ед. хр. 4 а – в. Л. 31 об.

<sup>118</sup> Установленное Лотманом сходство между поступком Карамзина и поведением маркиза Позы, героя трагедии Шиллера «Дон Карлос», требует особого комментария. На наш взгляд, здесь мы имеем дело все-таки с разными социальными стратегиями: шиллеровский герой вел себя как придворный, Карамзин – как ученый историк.

системы патронажных отношений, связывавших его с монархом, и сожалел поэтому о внезапной и не зависевшей от него смене социального паттерна.

К 1811 году отношения между Карамзиным и Александром I регламентировались конвенциями, вступившими в силу в конце 1803 года, когда Карамзин был назначен официальным историографом. О. Ранум, изучавший воздействие специфической конфигурации социальных норм на идеологические и научные стратегии королевских историков во Франции XVII века, заметил:

Назначение историографом Франции (*historiographe de France*) или королевским историографом (*historiographe du roi*) означало, что король удостоивает подданного чести, жалует ему достоинство и титул. Подобно другим титулам, он становился частью имени писателя или его публичной идентичности. <...> Должность королевского историографа сделала узы службы и преданность более явственными, чем связи, которые обычно формируются между представителями власти и авторами в XX веке. Как бы то ни было, чрезвычайно трудно провести демаркационную линию, отделяющую следствия зависимости от идеологической позиции в историографии. <...> Королевский историограф обязан был угодить своему покровителю-королю или канцлеру – если они удосуживались обратить внимание на его труд – и не обидеть при этом видных дворян и служителей церкви<sup>119</sup>.

Позицию Карамзина трудно рассматривать вне сети социальных связей, в которой он находился, будучи историографом, и вне специфических особенностей публичного пространства, внутри которого в России того времени происходило обсуждение политических аргументов.

Прежде всего отметим, что независимость сочинителя «Истории государства Российского», о которой писал Лотман, в известной степени была относительной. 30 октября 1803 года Карамзин, благодаря протекции попечителя Московского учебного округа М. Н. Муравьева, стал официальным историографом империи<sup>120</sup>. Процедура назначения соответствовала принятому порядку – таким же образом, через посредство близкого ко двору «патрона» и одновременно ученого-историка (Г. Ф. Миллера), официальным историографом весной 1767 года был сделан М. М. Щербатов<sup>121</sup>. Как и Щербатову<sup>122</sup>, Карамзину предоставили эксклюзивный доступ в государственные и церковные архивы<sup>123</sup>, а исторические материалы и сочинения печатали за счет казны<sup>124</sup>. И Щербатов, и Карамзин поднялись в табели о рангах: в 1767 году Щербатов обрел придворный чин камер-юнкера<sup>125</sup>, в 1804 году Карамзин «был пожалован из отставных поручиков сразу в надворные советники», тем самым ему открывалась «возможность получения очередных чинов и в будущем»<sup>126</sup>.

Разница, впрочем, состояла в том, что Щербатов параллельно с историческими штудиями занимался государственной службой, как депутат Уложенной комиссии от Ярославской

---

<sup>119</sup> Ranum O. *Artisans of Glory. Writers and Historical Thought in Seventeenth-Century France*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1980. P. 22–23.

<sup>120</sup> Сведения о назначении Карамзина суммированы в работе: Афиани В. Ю., Козлов В. П. От замысла к изданию «Истории государства Российского» // Карамзин Н. М. История государства Российского: В 12 т. Т. I. М.: Наука, 1989. С. 514–573.

<sup>121</sup> См.: Калинина С. Г. Проблемы реконструкции биографии князя М. М. Щербатова // Архив русской истории. Вып. 7. М.: Древлехранилище, 2002. С. 136–137.

<sup>122</sup> В 1775 году Щербатов получил возможность брать нужные ему документы на дом. См.: Там же. С. 137.

<sup>123</sup> Афиани В. Ю., Козлов В. П. От замысла к изданию «Истории государства Российского». С. 518.

<sup>124</sup> Миллюков П. Н. Главные течения русской исторической мысли. 3-е изд. СПб.: Издательство М. В. Аверьянова, 1913. С. 100.

<sup>125</sup> Калинина С. Г. Проблемы реконструкции биографии князя М. М. Щербатова. С. 141.

<sup>126</sup> Афиани В. Ю., Козлов В. П. От замысла к изданию «Истории государства Российского». С. 519.

губернии участвуя в работе комиссии над сочинением проекта нового Уложения и с осени 1767 года занимая видное положение в Частной комиссии о среднем роде людей<sup>127</sup>. Екатерина II лично знала Щербатова, входившего в число ее активных сотрудников. Позиция Карамзина оказалась иной: он получил место историографа фактически «анонимно». Не будучи придворным или государственным человеком, он познакомился с Александром I через несколько лет после назначения. Более того, Карамзин до 1803 года не имел никакого отношения и к академической науке. Как пишет В. П. Козлов, определение Карамзина историографом стало возможно в результате кризиса традиционных институций, занимавшихся историей: «Это назначение Карамзина в тот момент, когда в Академии наук был восстановлен исторический разряд, а в Российской академии вынашивались планы исторических разысканий, означало признание неэффективности организации исторической науки на базе двух академий»<sup>128</sup>.

Не вполне понятно, впрочем, получали ли Щербатов и Карамзин денежное вспомоществование за свои исторические труды. Неустойчивое финансовое положение Карамзина, по его собственному признанию в письме к М. Н. Муравьеву от 28 сентября 1803 года, обусловило запрос на государственную пенсию («Могу и хочу писать Историю, которая не требует поспешной и срочной работы; но еще не имею способа жить без большой нужды»<sup>129</sup>). Согласно указу от 31 октября 1803 года, Карамзину причиталось 2000 рублей ежегодного дохода<sup>130</sup>. Впрочем, В. Ю. Афиани и В. П. Козлов подчеркивают, что неизвестно, получал ли на самом деле Карамзин эти деньги, поскольку сам он в письме Николаю I от 22 марта 1826 года это отрицал, утверждая, что пенсия в 2000 рублей стала следствием другой аффилиации – университетской<sup>131</sup>. Как бы то ни было, свидетельства Карамзина начала 1800-х и середины 1820-х годов решительно расходятся: первые фиксируют повышенное внимание историографа к экономической стороне вопроса и откровенные просьбы о регулярной финансовой помощи, вторые, напротив, рисуют образ независимого ученого, никак не связанного с государством (кроме 60 тысяч рублей, выделенных на напечатание «Истории» в 1816 году).

Афиани и Козлов отмечают, что указ 1803 года «конституировал общественный, а не должностной статус Карамзина как историографа», в то время как «его место в системе государственной службы оставалось неясным». Указ 1804 года о чине надворного советника сделал ситуацию более прозрачной<sup>132</sup>. В любом случае положение Карамзина оказывалось достаточно привилегированным: он обладал «монопольным правом на создание и публикацию обобщающего труда по истории России»<sup>133</sup>, получил уникальный доступ к историческим документам, новый чин и, вероятно, ежегодную пенсию, позволявшую ему оставить издательские занятия по журналу «Вестник Европы». При этом указы Александра «никак не регламентировали должностных обязанностей историографа»: ему не вменялись точные сроки сдачи в печать томов «Истории», более того, он даже не должен был отчитываться в своей деятельности – Карамзин составлял соответствующие бумаги и отправлял их статс-секретарям исключи-

<sup>127</sup> Калинина С. Г. Проблемы реконструкции биографии князя М. М. Щербатова. С. 140.

<sup>128</sup> Козлов В. П. Круг «любителей отечественной истории» // Вопросы истории. 1987. № 6. С. 186.

<sup>129</sup> Письма Н. М. Карамзина к М. Н. Муравьеву // Москвитянин. 1845. № 1. Материалы для русской истории и для истории русской словесности. С. 2. См. также: Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Ч. II. С. 5, 17.

<sup>130</sup> «...всемиловитейше повелеваем производить ему, в качестве историографа, по две тысячи рублей ежегодного пенсиона из кабинета нашего».

<sup>131</sup> Афиани В. Ю., Козлов В. П. От замысла к изданию «Истории государства Российского». С. 546–547. В 1803 году при назначении историографом Карамзин состоял почетным членом Московского университета. См., например, формулировку письма М. Н. Муравьева к А. Н. Голицыну от 17 декабря 1803 года о дозволении Карамзину читать рукописи в монастырях: «Снисходя на просьбу Московского императорского университета почетного члена и историографа Николая Карамзина...» (О дозволении Н. М. Карамзину читать рукописи в монастырях // Русская старина. 1898. № 12. С. 656).

<sup>132</sup> Афиани В. Ю., Козлов В. П. От замысла к изданию «Истории государства Российского». С. 518–519.

<sup>133</sup> Там же. С. 518.

тельно по собственной инициативе, считая написание русской истории важным государственным делом<sup>134</sup>.

В письме к Муравьеву от 28 сентября 1803 года Карамзин вспоминал о назначении в 1772 году королевским историографом Франции Ж.-Ф. Мармонтеля: «Во Франции, богатой талантами, сделали некогда Мармонтеля *историографом* и давали ему пенсию, хотя он и не писал истории: у нас в России, как вам известно, не много истинных авторов»<sup>135</sup>. Карамзин мог ссылаться на опыт Мармонтеля, в частности опираясь на посмертно изданные в 1800 году воспоминания французского философа и писателя. В мемуарах Мармонтель описывал все тот же социальный паттерн: он стал историографом благодаря «милости» («grâce» и «faveur»), покровительству влиятельного патрона (герцога д'Эгийона) и собственным талантам литератора («homme de lettres»)<sup>136</sup>. Кроме того, Мармонтель получал особую сумму денег<sup>137</sup> и пользовался доступом к историческим документам<sup>138</sup>.

Французский контекст, о котором пишет О. Ранум, следовательно, был Карамзину так или иначе известен. Официальный историограф, напомним тезис Ранума, осознавал себя прежде всего включенным в систему патронажных отношений и ориентировал как собственное публичное поведение, так и риторику исторических сочинений на принятые в этой сфере нормы. Ранум отмечает, что европейские историографы, начиная с Д. Юма и Вольтера<sup>139</sup>, своим успехом были обязаны уже не столько патронажным сетям, сколько популярности у читающей публики: «доход от книжных продаж заменил собой [получаемые от патрона] пенсии»<sup>140</sup>. Карамзин двигался в обратном направлении: от стремления получить прибыль с собственных интеллектуальных проектов, рассчитанных на книжный рынок (в частности, от успешного «Вестника Европы»)<sup>141</sup>, к жизни на пособие, обеспеченное государством в обмен на службу – в качестве официального историографа империи<sup>142</sup>. Более того, по мнению Карамзина, именно успех у читателей и профессиональных литераторов в России и Европе делал его самым лучшим кандидатом в историографы<sup>143</sup>. Первоначально при посредничестве Муравьева

<sup>134</sup> Там же. С. 519.

<sup>135</sup> Письма Н. М. Карамзина к М. Н. Муравьеву // Москвитянин. 1845. № 1. Материалы для русской истории и для истории русской словесности. С. 2 (курсив автора. – М. В.).

<sup>136</sup> Œuvres posthumes de Marmontel, historiographe de France, secrétaire perpétuel de l'Académie française. Mémoires. Т. 3. Paris: Chez Xhrouet, 1805. P. 123–128.

<sup>137</sup> Ibid. P. 264.

<sup>138</sup> Ibid. P. 145–146.

<sup>139</sup> С той оговоркой, что Вольтер носил звание королевского историографа, полученное им в 1745 году благодаря протекции мадам де Помпадур. Впрочем, его карьера сложилась скорее неудачно: Людовик XV не питал к Вольтеру особого доверия, что привело к его маргинализации при дворе и к отказу в доступе к важным историческим документам. Вольтер подчеркивал, что официальный историограф по определению зависим в своих суждениях от мнения высочайшего бенефициара (*Pierse S. Voltaire: Polemical Possibilities of History // A Companion to Enlightenment Historiography / ed. by S. Bourgault, R. Sparling. Leiden; Boston: Brill, 2013. P. 165–167*); см. также: *Pocock J. G. A. Barbarism and Religion: 6 vols. Vol. II: Narratives of Civil Government. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 76*).

<sup>140</sup> *Ranum O. Artisans of Glory. P. 23–24.*

<sup>141</sup> См., например, рассказ о Карамзине в письме Г. П. Каменева к С. А. Москотильникову от 10 октября 1800 года: «Он росту более нежели среднего, черноглаз, черноволос, нос довольно велик, румянец неровной и бакенбарт густой. Говорит скоро, с жаром и перебирает всех строго. Жалуется на цензуру. Сожалеет, что не умел воспользоваться от своих сочинений, и называет их своею деревенькою» (Письма Г. П. Каменева к С. А. Москотильникову // Бобров Е. А. Литература и просвещение в России XIX в.: В 4 т. Т. III. Казань: Типо-литография Императорского университета, 1902. С. 130; см. также: *Ключкин К. Сентиментальная коммерция: «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина // Новое литературное обозрение. 1997. № 25. С. 84–98*).

<sup>142</sup> «23 года, по воле Императора Александра, я неумоимо писал Историю, назывался *Государственным* Историографом, но не получал никакого жалования от Государства...» (из письма Карамзина к Николаю I от 22 марта 1826 года: Император Николай Павлович и Карамзин в последние его дни. Их переписка // Русский архив. 1906. № 1. С. 123; курсив автора. – М. В.). В официальных указах Карамзин именовался «историографом Российской Империи», см., например, императорский указ Правительствующему сенату от 16 марта 1816 года: *Смесь // Сын Отечества. 1816. № 12. С. 238.*

<sup>143</sup> «С журналом я лишаюсь 6000 рублей доходу. Если вы думаете, Милостивый Государь, что Правительство может иметь некоторое уважение к человеку, который способствует успехам языка и вкуса, заслужил лестное благоволение Российской

он просил у императора денежной помощи лишь на пять-шесть лет, полагая, что затем «написанная история и публика не оставили бы меня в нужде»<sup>144</sup>.

Погодин в своих «Материалах для биографии» реконструировал эмоциональное состояние Карамзина во время поездки в Тверь в 1811 году. Он предположил, что в общении с монархом историограф «открывал свою душу», не думая о последствиях собственных шагов, «смотря на дело с одной стороны – отвлеченной, идеальной, пиитической»<sup>145</sup>. Выехав же из Твери, Карамзин утратил былой настрой и задумался о «деле» со стороны «материальной, житейской, прозаической»: «Негодование Государя, от которого зависела его судьба, судьба его семейства, его Истории, должно было тревожить его»<sup>146</sup>. Вывод Погодина вполне основателен, однако он, как и конструкция «эмоционального переключения» в целом, слабо соотносится с якобы настойчивым стремлением Карамзина во что бы то ни стало познакомить императора с текстом откровенно крамольного трактата.

Карамзин идентифицировал себя со своим статусом и ценил его, именно поэтому он, в частности, просил в 1804 году Муравьева доложить императору о необходимости «утвердить» позицию историографа в «порядке государственных чинов», уравнив его с профессорским званием<sup>147</sup>. Занятия «Историей» Карамзин, его современники и потомки достаточно последовательно интерпретировали с помощью терминов «милость» и «покровительство», отсылавших к условностям патронажной системы отношений<sup>148</sup>. В марте 1811 года у Карамзина наконец появилась возможность оправдать собственное возвышение в разговоре с главным бенефициаром – императором Александром I<sup>149</sup>. Не следует забывать и о том, что благонадежность историографа в этот момент энергично оспаривалась П. И. Голенищевым-Кутузовым, «а в феврале 1811 года, за месяц до встречи с Карамзиным, Александр получил другой донос – более серьезный – о том, что историограф якобы имел связь с французским шпионом, неким шева-лье де Месанс, незадолго до этого побывавшим в Москве»<sup>150</sup>, о чем историограф знал от И. И. Дмитриева.

Возвращаясь к сюжету с погодинской биографией и воспоминаниями Сербиновича, заметим, что поздние высказывания Карамзина не могут, конечно, служить доказательством

---

публики, и которого безделки, напечатанные на разных языках Европы, удостоились хорошего отзыва славных иностранных литераторов: то нельзя ли при случае доложить Императору о моем положении и ревностном желании написать историю не варварскую и не постыдную для Его царствования?» (из письма к М. Н. Муравьеву от 28 сентября 1803 года: Москвитянин. 1845. № 1. Материалы для русской истории и для истории русской словесности. С. 2).

<sup>144</sup> Там же. Надо, впрочем, отметить, что планы Карамзина претерпели быструю трансформацию. Уже 24 декабря 1803 года он писал Муравьеву: «...расположение публики, с которою мне должно проститься на долгое время, а в некотором смысле и навсегда. История удаляет нас от современников» (Там же. С. 7). 12 сентября 1804 года Карамзин в корреспонденции к тому же адресату высказался так: «Я могу умереть, не дописав Истории» (Там же. С. 9). Подробнее см.: *Korchmina E., Zorin A. Karamzin and Money // Cahiers du monde russe. 2018. Vol. 59. № 1. P. 117–140.*

<sup>145</sup> Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Ч. II. С. 84.

<sup>146</sup> Там же.

<sup>147</sup> Москвитянин. 1845. № 1. Материалы для русской истории и для истории русской словесности. С. 9.

<sup>148</sup> Карамзин описывал в письмах Муравьеву 1803 и 1804 годов собственную благодарность при известии о назначении историографом в следующих терминах: «Вам единственно обязан я милостию Государя и способом заниматься таким делом, которое может быть славно для меня и не бесславно для России», «Прошу вас, Милостивый Государь, изъявить великодушному Монарху усердную и благоговейную признательность одного из Его вернейших подданных, который посвятит всю жизнь свою на оправдание Его благодетельств», «новая милость Государя» и «покровительство» Муравьева (Там же. С. 3–4, 9). Еще при жизни Карамзина в журнале «Сын Отечества» были напечатаны сведения о его наградах в связи с началом печатания «Истории государства Российского». В издательском комментарии к документам речь шла об Александре I как «Августейшем покровителе дарований», об «отличной награде» Карамзину, о «знаках Монаршей милости» (Смесь // Сын Отечества. 1816. № 12. С. 239). Наконец, в своих парижских лекциях 1862 года С. П. Шевырев называл Муравьева «покровителем» Карамзина и «достойным посредником между ним и императором Александром» (*Шевырев С. П. Лекции о русской литературе, читанные в Париже в 1862 г. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1884. С. 271–272.*)

<sup>149</sup> Не говоря об убеждении Карамзина в том, что «История народа принадлежит Царю», высказанном в посвящении «Истории» монарху, датированном 8 декабря 1815 года (*Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. I. С. 12.*)

<sup>150</sup> *Вацуро В. Э. «Подвиг честного человека» // Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины»: Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. 2-е изд. М.: Книга, 1986. С. 100.*

того, что и в момент совершения действия он придерживался тех же воззрений. Вместе с тем сам текст записки во многом работает на версию о ее полностью конфиденциальном характере. Столь резкий по интонации и выводам трактат контрастировал со стилистическими и риторическими нормами жанра особых записок на имя императора, принятыми в придворной среде (см., например, другой текст, вышедший из тверского салона Екатерины Павловны в 1811 году, – «Записку о мартинистах» Ф. В. Ростопчина, устроенную иначе, или «Четыре главы о России» Ж. де Местра, которые были непосредственно заказаны монархом<sup>151</sup>). Традиционно тексты, критически осмыслявшие актуальную политическую реальность, – например, знаменитый трактат Щербатова «О повреждении нравов в России» – сохранялись в рукописях и могли циркулировать в ограниченном числе копий и ни в коем случае не предназначались для публикации или тем более ознакомления с их содержанием самого монарха. Именно резкий критический тон записки, а не ее консервативное содержание или факт прочтения царем составляет суть корректно поставленного исторического вопроса о значении текста для эпохи, его породившей. Историограф с предельной откровенностью говорил о «табуированных» в окружении монарха темах – например, о правлении Павла и его убийстве (к тому же в дни десятилетней годовщины этого события)<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> См.: Ларионова Е. О. К изучению исторического контекста «Записки о древней и новой России» Карамзина // Николай Михайлович Карамзин. Юбилей 1991 года: Сборник научных трудов. М.: б/и, 1992. С. 4–12; Дегтярева М. И. Два кандидата на роль государственного идеолога: Ж. де Местр и Н. М. Карамзин // Исторические метаморфозы консерватизма. Пермь: Пермский государственный университет, 1998. С. 63–84.

<sup>152</sup> Об этом же писал и Ю. М. Лотман (*Лотман Ю. М.* «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» Карамзина – памятник русской публицистики начала XIX века. С. 201–202). Несоответствие записки нормам, регулировавшим отношения монарха с его историографом, по мнению Лотмана, дополнительно свидетельствовало о «беспримерной смелости» Карамзина (Там же. С. 204).

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.